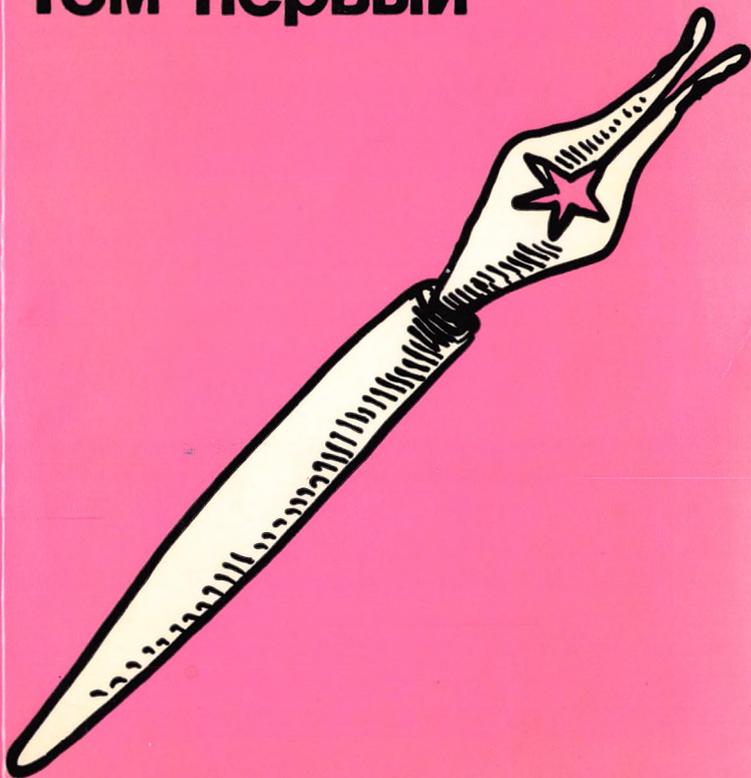


1

# ЮМОР И САТИРА ПОСЛЕ- РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

## Антология Том первый

ЮМОР И САТИРА  
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ  
РОССИИ



ОРИ

# **ЮМОР И САТИРА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ**

# **HUMOR AND SATIRE OF POST-REVOLUTIONARY RUSSIA**

**An anthology in two volumes  
compiled and introduced  
by Boris Filipoff  
in collaboration with  
Vadim Medish**

**I**

**Overseas Publications Interchange Ltd.**

# **ЮМОР И САТИРА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ**

**Антология в двух томах**

**Составитель Борис Филиппов  
при участии Вадима Медиша**

**Том первый**

**Overseas Publications Interchange Ltd.**

**ÛMOR I SATIRA POSLEREVOLÛTSIONNOÏ ROSSII**  
**Antologiã v dvukh tomakh**  
**Sostavitel' Boris Filipoff pri uchastii Vadima Medisha**

---

First Russian edition published in 1983  
by Overseas Publications Interchange Ltd.  
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

---

**ISBN for complete set of 2 volumes: 0 903868 20 2**  
**ISBN for this volume: 0 903868 25 3**

---

Cover design by Andrzej Krauze

---

## Несмешное о смешном

Вы подходите к небольшому кружку хохочущих людей. Вслушиваетесь в то, что им рассказывает жизнерадостный весельчак. Ну, что же здесь смешного? — в недоумении разводите вы руками. Комическое чаще всего ограничено тесным, плохо преодолеваемым посторонними частоколом.

Комическое словесное, игра слов, например, вовсе неперево-димом на другой язык. Ну, попробуйте, скажем, перевести игру слов Лескова, в одном из своих произведений сказавшего, что этот, мол, богослов — воистину бог ослов. Или рассказ Федора Павловича Карамазова: „Раз, много лет уже тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу: 'Ваша супруга щекотливая женщина-с', — в смысле то есть чести, так сказать нравственных качеств, а он мне вдруг на то: 'А вы ее щекотали?' Не удержался, вдруг, дай, думаю, полюбезничаю: 'Да, говорю, щекотал-с', — ну тут он меня и пощекотал". А попробуйте перевести с к а з, скажем, того же Лескова — или Михаила Зощенко. Для Зощенко сказ — не только один из элементов художественного воплощения: он для него, пожалуй, единственное, чем ярко и пластично, динамично и психологически четко характеризуются его, Зощенко, персонажи. Сказ для него — все. „Сказ делает слово физиологически ощутимым — весь рассказ становится монологом, он адресован каждому читателю — и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, жестикулировать, улыбаться, он не читает рассказ, а играет его. Здесь — близкая связь с юмором. Юмор живет словом, которое богато жестокой силой... Таков

сказ Зощенки, и потому он юморист”<sup>1</sup>. Это свидетельство Юрия Тынянова. Так вот, попробуем перевести сказ Зощенко на английский, скажем, язык. Для какого-то „социально-культурного” соответствия, на язык кокни. И получится плохой рассказ о переяженном в платье питерско-ленинградского „посадского” кокни — вместо искрометного юмора Зощенко.

Но ведь и юмор с и т у а ц и й часто неперево­дим не только на чужой язык, но и на язык своей же страны другой эпохи. Как бы ни был велик Чехов, как бы ни был он блестящ даже во многих рассказах Антоши Чехонте, но сколь многое уже не доходит из его юмора до читателя поколений, никак не заставших быта восьмидесятих-девяностых годов прошлого века! И с каким трудом выбираешь из „короля смеха” десятых годов нашего века — Аркадия Аверченко — то, что еще не совсем обветшало, что и сегодня смешно... Нет, трагическое куда в е ч н е е комического! Люди страдают и плачут, примерно, и сейчас так же, как во времена Эсхила, ну а смеются... Смеются совсем над иным.

Смех не одинаков у разных культурных слоев населения и сегодня. Пойдите в кино: и вы убедитесь, что часть публики — „попроще” — хохочет в самых трагических и в самых лиричнейших для вас местах. Смех не только к а с т о в: он часто замкнут наглухо для не с в о и х в самом тесном значении этого слова: ошибка, заставляющая хохотать врача, непонятна для инженера: смех здесь тесно связан с узко-префессиональными знаниями. А сколько каждый припомнит с м е ш н о г о только в узком семейном кругу!

Итак, смех ограничен эпохой, нацией, социально-культурным кругом, наконец, в ряде случаев — узким семейным или дружеским кругом. И, конечно, лишь в самых, самых гениальных своих проявлениях — а много ли таких наберется! — живет долгое, долгое время. Но что же такое с м е х — по самой своей природе?

Тут, пожалуй, никак не уйти от давнего понимания Бергсона: смех — это реакция нашего живого, органического я на то, что кажется ему механическим, не-живым, мертвым. Отсюда и такая значимость жеста в комическом: застывший или механически повторяющийся жест заставляет воспринимать человека, как машину, как говорящий и жестикулирующий аппарат. Помните рассказ Фамусова о дяде Максиме Петровиче: „сурьезный взгляд, надменный нрав”, — сделавшем карьеру при матушке-императрице Екатерине:

---

<sup>1</sup> Ю. Тынянов. Литературное сегодня. „Русский Современник”, 1924, № 1, стр. 301.

На куртаге ему случилось оступиться:  
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;  
Старик заохал, голос хрипкой;  
Был высочайше пожалован улыбкой;  
Изволили смеяться; как же он?  
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,  
Упал вдругорядь – уж нарочно,  
А хохот пуще, он и в третий так же точно.  
А? как по вашему? по нашему, смышлен.  
Упал он больно, встал здорово.  
За то бывало в вист кто чаще приглашен?  
Кто слышит при дворе приветливое слово?  
Максим Петрович!

Несложный, примитивнейший прием комического: прием „ваньки-встанки”, – но он действует безотказно – всегда вызывает смех. Но не то же самое – по сути дела – у Зоценко в его „Забавном приключении”, когда артист-любовник, при любом неприятном положении, всегда „моментально поникает духом и, находясь в страшной тоске, хочет прилечь на диван”. Но таков же и гоголевский пан-голова из „Майской ночи”, при каждом удобном и неудобном случае всегда вспоминающий, как он раз „вез царицу и сидел на козлах царской кареты”.

Как реакция живого на механическое, мертвое, – смех всегда отталкивание, осуждение, – и потому-то быть высмеянным более обидно для каждого из нас, чем даже быть обвиненным в самом чудовищном, но не смешном проступке или преступлении. И потому-то религиозный культ не может включать в себя смеха: ведь смех – осуждение, следовательно, какое-то становление себя, осмеивающего, много превышает другого, осмеиваемого. „Христос никогда не смеялся, – пишет В. В. Розанов в гениальном очерке „О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира” („Темный Лик”): – Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине?! Я не помню, улыбался ли Христос<sup>2</sup>. Печать грусти, пепельной грусти – очевидна в Евангелии. Радости в нем есть, но совершенно особенные, схематические, небесные; радости с неизмеримой высоты над землею и человечеством”.

---

<sup>2</sup> Я лично не помню во всей мировой иконографии Христа ни одного улыбающегося Его лика, кроме чудной красоты улыбающегося Спасителя на древнем обетном кресте, врезанном в стену у входа в церковь Рождества Богородицы (1199) древнего Михалицкого монастыря на Молоткове. Но ведь это – Новгород, где и церковь-то есть во имя „Уверения неверного апостола Фомы”.

Прав или неправ Розанов — в отношении христианства, — но фанатически религиозная — психологически — догма максимизма-ленинизма-коммунизма с м е х, по существу, исключает. А. Богданов еще понимал его и считал, что предмет насмешки — „существо, исключаемое из социальной связи”, — в чем прямо следовал в этом отношении за Бергсоном<sup>3</sup>. Но уже тогда — и немного позже — юмор и сатира призывались исключительно для борьбы с п е р е ж и т к а м и в советском быту, так сказать, „языческих”, до-коммунистических привычек и страстей, верований и характерных особенностей. И. Нусинов писал поэтому, что „если сатира займет в пролетарской литературе третьестепенное место, то и юмор, как литературная категория, социально чуждая пролетариату, не может претендовать на особое значение”. Ведь „их роль (сатиры и юмора, Б. Ф.) с каждой новой победой пролетариата будет все уменьшаться. Пролетарская литература не создаст классиков сатиры и юмора”<sup>4</sup>. В последнем утверждении Нусинов неоспоримо прав: если есть превосходные образцы русской сатиры и русского юмора советского периода, то они принадлежат как раз писателям, н е с о з в у ч н ы м советскому строю — или враждебным (хотя бы скрытно) ему. Ведь даже мелкотравчатый юмор Ильфа и Петрова задевал и вызывал негодование власть имущих. Говоря о смехе „Двенадцати стульев”, присяжный критик КПСС, вернее, тогда еще ВКП (б), А. Селивановский, писал, что „его (смеха Ильфа и Петрова, Б. Ф.) интонация не меняется при переходе от контрреволюционной организации к неудачному роману мадам Грицацуевой... Смех, вызываемый им, не заставляет читателя задуматься, Ильф и Петров показывают нам лишь пену пошлости, не добываясь до корней старого мира”<sup>5</sup>. Тем более, понятно, вызывает озлобление сатира Михаила Булгакова, блестящая, ядовитая, беспощадная. „У М. Булгакова, — пишет Л. Ершов, — картины алогизма, путаницы и бестолковщины переходили в фантастический гротеск, завершались фантазмагорическими финалами. Опирируя выработанным Гоголем восприятием жизни как комического смещения абсурдного и реального, призрачного и действительного, М. Булгаков механически переносил принципы гоголевской сатиры и гоголевского видения жизни в свои рассказы и повести с целью создания

---

<sup>3</sup> А. Богданов. Тайна смеха. „Молодая Гвардия”, 1923, № 2, стр. 178.

<sup>4</sup> И. Нусинов. Вопросы жанра в пролетарской литературе. „Литература и Искусство”, 1931, № 2-3, стр. 41, 43.

<sup>5</sup> А. Селивановский. В литературных боях. Изд. „Сов. Писатель”, М., 1959, стр. 38.

пасквиля на порядки в современной России”<sup>6</sup>. „Сознательная опора на Гоголя, — пишет он дальше, — в целях дискредитации советской действительности имелаась и у Е. Замятина, только картина, нарисованная им в романе 'Мы' (1921), была еще более безотраднa, а обличения выродились в злобную клевету”<sup>7</sup>. В „Советской Энциклопедии” 1935 года — „буржуазный писатель, Замятин, в своих произведениях... рисует картину, совершенно искажающую советскую действительность”. В „Краткой Литературной Энциклопедии” 1964 года — Замятин тоже враг: „В многочисленных фантастико-аллегорических стилизованных рассказах, сказках-притчах и драматургических 'действиях' ...гротескно преломлялись события эпохи военного коммунизма и гражданской войны, которые Замятин изображал с антисоветских позиций, как возврат к 'пещерному' существованию”<sup>8</sup>. И это понятно, естественно: ведь Евгений Замятин, инженер и бывший марксист-большевик, более всего на свете ненавидел именно эту машину, механически обезличивающую — столь близкую советскому „индустриализму” — культуру. В письме к художнику и писателю Ю. П. Анненкову, „которое являлось кратчайшим шуточным конспектом романа 'Мы'”, он писал:

„... Техника всемогуща, всеведуща, всеблаженна. Будет время, когда во всем — только организованность и целесообразность, когда человек и природа — обратятся в формулу, в клавиатуру. ...Люди смазаны машинным маслом, начищены и точны, как шестиколесный герой Расписания (железных дорог, Б. Ф.). Уклонение от норм называют безумием. А потому уклоняющихся от норм шекспиров, дostoевских и скрябиных — завязывают в сумасшедшие рубахи и сажают в пробковые изоляторы. Детей изготавливают на фабриках — сотнями, в оригинальных упаковках, как патентованные средства; раньше, говорят, это делали каким-то кустарным способом. Еще тысячелетие — и от соответствующих органов останутся только розовенькие прыщички (вроде того, как сейчас у мужчины на груди

---

<sup>6</sup> Л. Ершов. Советская сатирическая проза. Изд. „Художественная Литература”, М.-Л., 1966, стр. 96. А что бы сказал Л. Ершов о таком произведении Булгакова, как огромная гротеско-трагедия „Мастер и Маргарита”, о которой он и не заикается!

<sup>7</sup> Там же, стр. 96.

<sup>8</sup> Статья О. Михайлова. „Краткая Литературная Энциклопедия”, т. 2, М., 1964, столб. 987. Сам Замятин, в письме к И. В. Сталину (июнь 1931), пишет: „... как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта, — так критика сделала из меня черта советской литературы. Плпнуть на черта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умел”. — Е. Замятин. Лица. Изд. Междунар. Литератур. Содружества, 1967, стр. 278.

справа и слева). Впрочем, пока кое-какие, воробьиные, еще уцелели, но любовь заменена полезным, в назначенный час, отправлением сексуальных надобностей... Дорогой мой друг! В этой целесообразной, организованной и точнейшей вселенной тебя бы укачало в полчас..."<sup>9</sup>

Но могут ли социальные утописты хотя бы приблизиться к этой мечте (ее официально отвергают, понятно, но фактически к этому ведь и стремится кибернетически-технизированная и плано-бюрократическая система тоталитарного социализма!), создав новых людей-роботов, всецело покорных воле вождя? Помните, Воланд, в „Мастере и Маргарите“ Булгакова, говорит задумчиво: „Ну, что же, ..они люди как люди... Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну легкомысленны... ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их...“<sup>10</sup>

Доставалось от советской официальной критики и Пантелеймону Романову: „В советскую литературу прет мещанин“<sup>11</sup>. Но особенно, конечно, если не говорить о Булгакове и Замятине, нападали на Зоценко. В „Четвертой прозе“ Осип Манделштам писал о травле большого русского сатирика и юмориста: „У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это — рассказы Зоценко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зоценко по всем городам и местечкам Советского Союза...“<sup>12</sup> Но, увы, лучшим памятником Зоценко было постановление ЦК КПСС, клеймящее и извергающее его и Ахматову из жизни, да следующее за этим выступление покойного тупицы и палача А. А. Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“, осмелившихся печатать Зоценко и Ахматову. Из постановления ЦК: „Зоценко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и апатичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание“<sup>13</sup>. Несколько фраз из речи Жданова:

---

<sup>9</sup> Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том 1. Изд. Междунар. Литер. Содружества, 1966, стр. 258.

<sup>10</sup> Мих. Булгаков. Мастер и Маргарита. Изд. „Посев“, 1969, стр. 160.

<sup>11</sup> „Звезда“, 1927, № 4, стр. 266.

<sup>12</sup> Осип Манделштам. Собр. сочинений в 3 тт. Том 2. Изд. Междунар. Литер. Содружества, 1971 (изд. 2-е), стр. 191. „Вот у кого прогулы дышат, брюссельское кружево живет!“ — восклицает далее Манделштам, характеризуя стиль Зоценко.

<sup>13</sup> О журналах „Звезда“ и „Ленинград“. Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946. „Правда“, 21 августа 1946.

„Зоценко с его омерзительной моралью...” „пошляк и несоветский писатель...” „Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та 'мораль', которую проповедует Зоценко...”<sup>14</sup>.

Заклевали, заставили умереть от истощения (и — на почве истощения — от туберкулеза) и исключительного мастера трагического гротеска Андрея Платонова. Не могли простить ему его думающего героя. Вот пришел такой уволенный администрацией Вошев опротестовывать свое увольнение, — пришел в профсоюз, в завком:

„— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вошев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог проработать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что же ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вошев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс”<sup>15</sup>.

На „вред” рассказа Платонова „Усомнившийся Макар” обратил внимание сам генералиссимус Сталин. „Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова 'Усомнившийся Макар', — писал в письме один из редакторов „Октября” А. Фадеев, — за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский”<sup>16</sup>. Когда Платонов, как писатель, был — в шестидесятых годах, — частично реабилитирован, „Краткая Литературная Энциклопедия” застенчиво говорила об опале автора: „... в 1926 он пишет сатирическую повесть 'Город Градов', в 1929 — рассказы 'Государственный житель' и 'Усомнившийся Макар', в 1931 — повесть 'Впрок'. Критика сочла неуместной и даже вредной сатиру Платонова. Его почти перестают печатать”<sup>17</sup>.

И, вместе с тем, утверждая строжайшие границы, за которые не смеет переступать критика, советские власти предержавшие и их при-

---

<sup>14</sup> „Спутник Агитатора”, журнал МК и ЦК ВКП (б), 1946, № 2, стр. 13-15.

<sup>15</sup> Андрей Платонов. Котлован. „Грани”, Франкфурт, № 70, 1969, стр. 4-5. В СССР повесть до сих пор не опубликована.

<sup>16</sup> Цитирую по предисловию Мих. Геллера. Андрей Платонов. Чевенгур. Изд. УМСА, Париж, 1972, стр. 11.

<sup>17</sup> „Краткая Литературная Энциклопедия”, том 5, М., 1968, столб. 791.

дворные критики с огорчением устанавливают, что нет еще в СССР „наших советских Гоголей и Салтыковых, которые могли бы с такой же силой бичевать наши недостатки”<sup>18</sup>. Вот уж верно ответил кто-то на эти сожаления друга Ленина — Гусева-Драбкина! Боюсь, что перевираю четверостишие, но все-таки приведу его:

Мы за смех: но нам нужны  
Подобнее Щедрины  
И такие Гоголи,  
Чтобы нас не трогали...

Но и Сталин требовал появления советских Гоголей, и Хрущев не отставал от него. На 3-м съезде писателей, 22 мая 1959 года, он поставил перед советской сатирической литературой всю ту же программу: борьбы с „пережитками прошлого”: „Высмеивая те или иные пороки, пережитки и недостатки, сатира предупреждает людей от болезни, помогает людям изживать недостатки, так что сатира и впредь должна быть на вооружении нашей партии и народа, разить все, что мешает нашему продвижению к коммунизму”. „На пути коммунистического строительства встречается немало трудностей, — вторит вождям партии и правительства Л. Ершов: — Своим творчеством сатирики помогают сметать эти преграды. ...Подлинный сатирик — это всегда разведчик новых тем и объектов, стремящийся в зародыше увидеть отрицательное явление и раскрыть в острой форме его социально-историческую сущность”<sup>19</sup>.

Ну, можно ли ждать — при этих условиях — появления „советских Гоголей и Салтыковых-Щедриных”?! И те таланты, которые еще не были затравлены на смерть, умоляют выпустить их из Советского Союза. Мы приводили уже строки из письма Сталину Евгения Замятина, а вот отрывок из письма М. А. Булгакова Максиму Горькому: „Я подал Правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть пределы СССР на тот срок, какой мне будет назначен. ...Я хотел в подробном письме изложить Вам все, что происходит со мною, но мое утомление, безнадежность безмерны... Все запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем

---

<sup>18</sup> С. Гусев. Пределы критики (О пасквилях, поклепах, клевете и контрреволюции). „Известия ЦИК СССР и ВЦИК”, 5 мая 1927.

<sup>19</sup> Л. Ершов. Советская сатирическая проза. ГИХЛ, М.-Л., 1966, стр. 10. Давид Заславский еще более откровенно советовал поэтессе и разъездному репортеру ленинградской „Красной Газеты” Марии Шкапской — не только констатировать, скажем, недостатки и упущения на производстве, но и „сигнализировать” о них в ГПУ-НКВД, уметь „крепко ударить” по нарушителям советской законности...

держат писателя в стране, где его произведения не могут существовать?..” (1929) 20.

И юмор и сатира совершенно исчезают из официальной советской литературы. Нельзя же без конца высмеивать лишь пережитки прошлого! Нельзя же только „всемерно способствовать нашему продвижению к цели”! Сатира и юмор ушли в подполье, сатира и юмор теперь — в Самиздате.

Говоря о том, что социалистический реализм — искусство насквозь целенаправленное и теологическое, что цель его, как и всей нашей системы, — коммунизм, что „вся наша культура, как и все наше общество, — искусство наше — насквозь телеологично”, Абрам Терц-Андрей Синявский пишет, что „мы не себе желали спасения — всему человечеству... мы взяли за исправление вселенной по самому лучшему образцу, какой только имелся, по образцу сияющей и близящейся к нам цели. Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы построили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали. Во имя цели приходилось жертвовать всем, что у нас было в запасе... Порою казалось, что для полного торжества коммунизма не хватает лишь последней жертвы — отречься от коммунизма”<sup>21</sup>.

И, чтобы не писать все и вся во имя одной-разъединственной цели, чтобы быть свободным в своей любви и ненависти, в своем смехе, в частности, писатели уходят в подполье — и в Самиздат. Блестящие страницы сатирического характера есть и у Солженицына (чего стоят, к примеру, страницы в „Круге первом”, посвященные Сталину или посещению мадам Рузвельт московских МВД-КГБ!), блестящие вещи написаны Абрамом Терцем и его другом Юлием Даниэлем. Та же борьба против механического удушья, против внутренней неволи, какую не заместит никакая даже свобода либеральничать: „Товарищи! Они продолжают нас ре-пре-ссировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагерь из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это

---

20 Russian Literature Triquarterly, Ann Arbor, № 7, 1973, p. 450.

21 Абрам Терц. Что такое социалистический реализм? — В книге „Фантастический мир Абрама Терца”. Фантастические повести. — Судя идет. — Любимов...” Изд. Междунар. Литер. Содружества, 1967, стр. 410-411.

мы сами. Государство — это мы. ...Погодите, куда вы? Не убегайте! Все равно никуда не убежите! От себя не убежите!"<sup>22</sup>

Писатели-эмигранты... В их юморе больше, пожалуй, лиризма и меньше трагического гротеска: играют роль ностальгические моменты. Отсюда и задушевность Тэффи, дымка какой-то грусти в ее рассказах о прошлом. Отсюда неплохо стилизованный служивый фольклор „Солдатских сказок” Саши Черного. Даже Аверченко, с его „Дюжиной ножей в спину революции” скорее печален, чем ожесточен... И недаром приказал переиздать эту его книжку в СССР Ленин: она ведь — смех над теми, побежденными, ушедшими в изгнание... И хороший иллюстрацией к механичности, вызывающей естественную реакцию — смех — служит, скажем, начало временника Алексея Михайловича Ремизова — „Всеобщее восстание”: та же чертова карусель, что и чертово колесо Аверченко — как будто правительственная чехарда — механические устройства...

И — эмигрантская жизнь. Ее смех и слезы. Ее красочно и весело живописует Андрей Седых.

Итак, смех (способность, свойственная лишь людям: животные скалят зубы, но не смеются) — всегда осуждение, всегда отчуждение смеющегося от осмеиваемого. Комично неживое, механичное, как бы берущее в плен вечно изменяющееся, неуловимое для схемы, для типизации — живое. Смешна неподвижная маска, пусть даже трагическая, на живом лице. Смешна механически внедрившаяся и навеки укоренившаяся жестикуляция: в определенные моменты оратор — в зависимости от своего ораторского темперамента — или пилит воздух рукой, или как бы стучит молотком по головам и убеждениям слушателей, или как будто дергает ручку дверного колокольчика... Комичен рассказчик одного и того же, хотя бы самого смешного, анекдота: он как бы превращается в патефон с единственной пластинкой. А ведь личность человеческая — не машина. Вызывает смех, чаще всего связанный с ужасом, и омертвельный, давящий, насквозь механизированный общественный и государственный строй. И зритель, слушатель, читатель, просто случившийся рядом человек, отбрасывает, осуждает, отчуждает от себя механическое, овладевшее живым, отрицающая тем самым смерть, застылость и повторяемость — о с м е и в а е т.

Смех, поэтому, всегда жесток. Но он и неизбежен: органическое, живое не может (ни биологически, ни психологически) не отчуждаться от механического; жизнь не может не отгораживаться от смерти. Но абсолютно праведный не может смеяться. И человек, и

---

<sup>22</sup> Николай Аржак. Испытание. В его кн. „Говорит Москва”. Рассказы. Изд. Международного Литер. Содружества, 1966, стр. 157.

режим, считающий себя абсолютно праведным, не может допустить не только осмеяния, но даже усмешки.

Мне могут возразить: вы все время говорите о смехе, как осмеянии. Но ведь есть и смех от радости, от ощущения полноты бытия, есть, наконец, и беззлобная, тихо-радостная улыбка младенца. Но здесь просто – несовершенство нашего языка, не больше. Смех – это не то или иное судорожное движение мускулов наших щек и издаваемые при этом звуки. Да, ф и з и ч е с к и е сопутствующие явления схожи. Но, как говорил когда-то, кажется, Эйзенштейн, лицо, сморщившееся от крошенья лука, и лицо плачущей над телом погибшего ребенка матери для киносьемщика совершенно одинаковы: важен лишь контекст, в котором следуют друг за другом снимаемые кадры. Но, конечно, мы брали смех в его чистой форме. А чаще всего он теснейшим образом связан и с трагизмом, и с лиризмом, и даже с радостью от полноты бытия. Нужно только всегда различать тот **призвук** отчуждения, осуждения, который с разной степенью интенсивности сопутствует трагике или лиризму: осмеяние, смех, усмешка, улыбка... Но ведь даже в, казалось бы, беззлобной улыбке есть чувство отгораживанья от себя, стояния чуть-чуть выше предмета улыбки: вы любовно смотрите на едва-едва не падающего младенца, неуверенно делающего свои первые шажки. А ведь в подсознании некое **свысока**: я уже не таков: я крепко стою на своих на двоих... Но на спотыкающегося пьяного вы смотрите уже не с улыбкой, а со смехом... Да и робкая улыбка стеснительности зависимого от всех и каждого Акакия Акакиевича или улыбка и **словоерсы** (слушаю-с, понимаю-с...) капитана-мочалки в „Братьях Карамазовых” – это только в н у т р е н н е е высвобождение себя самого в себе самом от внутреннего же социального человека. Иногда – самоуничтожение от известной гордости (капитан Снегирев – „мочалка”), иногда – от нужды в подсознательном самоотделении-самооправдании.

Смех, ч и с т ы й смех, как уже говорилось, не вечен и не всемирен: он строго и тесно ограничен и своим временем, и своей средой. Чистый смех всегда злободневен – и умирает всегда вместе со смертью „злобы дня”. Он – эфемериды. Но долголетие комического, приближение его к вечному всецело зависит от того, насколько интенсивна его примесь к трагическому. А трагическое, в свою очередь, никогда почти не живет без сопутствующего комического. Безумному страдальцу Королю Лиру во всех его скитаниях сопутствует шут. Дон-Кихоту – Санчо Панса. Рядом с гоголевским головой и Калеником в „Майской ночи” неизбежны лирическая Ганна и трагическая Панночка. Такой юмор живет долго и всечеловечнее, нежели сатира, скажем, того же Щедрина. Юмор – это никогда не чистый смех. И в

этом сила и долголетие комического призыва: от „горьким смехом своим посмеюся” великого пророка, через „смех сквозь слезы” Гоголя – к доброй улыбке диккенсовского сверчка на печи в одноименном рассказе. Когда-то умный П. В. Анненков писал Тургеневу: „Хорошие юмористы всегда трагики по натуре и по сущности созерцания...”.

*Борис Филиппов*

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, КАК СОСТАВЛЯЛАСЬ ЭТА АНТОЛОГИЯ

Антология... Можно при ее составлении подойти к ней по-школьному, хрестоматийно: побольше авторов, пусть даже в отрывках. Некий цирковой парад-алле, когда перед зрителями под дребезжащие звуки медных тарелок, треск турецкого барабана, гром литавр и оглушительное пенье труб и тромбонов проходят церемоний-маршем танцовщицы и верблюды, гимнасты и медведи, лошади и клоуны, обезьяны и борцы...

— Парад-алле!

— Церемониймейстер с длинным бичом стоит посреди арены, а перед оглушенным звуками циркового оркестра и ошарашенным пестроцветностью хрестоматийного парада читателем проходят писатели, часто „числом поболее, ценою подешевле”, и читатель, как школьник, которого учителя словесности приучают ненавидеть даже первоклассную литературу, видит процессию, пестротую и дробностью наводящую зубную боль нестерпимейшей тоски.

Не лучше ли ограничиться небольшим числом авторов, чтобы не заполнять книгу тем материалом, какой легко найти даже в такой враждебной сатире и юмору стране, как многострадальный Советский Союз. Чтобы не заслонять авторов, представленных в антологии, парадом-алле множества литературных персонажей разного характера и весьма разного (чаще всего даже спорного) достоинства.

Чтобы лиризм юмора Войновича не убивался насмерть обвалом страниц сатириков, пишущих на их взгляд смешные вещи не менее, чем на пятистах многопудовых страниц. Чтобы трагедофарсовые страницы Андрея Платонова, Николая Аржака и Абрама Терца не заглушались сквернословием солдатско-кабацкого смеха. Чтобы, наконец, книга была попросту и н т е р е с н а читателю.

Вот последнюю цель и преследует наша антология.

Если эта цель достигнута составителями, антология всецело оправдала их ожидания. Но судить не нам. Но, конечно, и не авторам, которых мы — волею или неволею, не включили в эту антологию.



**Евгений Замятин**  
(1884 — 1937)



## Слово предоставляется товарищу Чурьгину

Уважаемые граждане — и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, граждане, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-на-перво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то к вас все как по-писанному идет, а это неписанное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию — ну, теперь, этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке — царство ему небесное! — было годов эдак двадцать пять, и кроме того он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой — это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря, особенно

одна с копьём, вроде бог — конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни и фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор плятятся — и Степка тоже.

Степка — он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзади и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а можно сказать, отбросы общества — или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: „Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?“ Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идет: Ну, тут он меня измугыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались — насилиу отдох.

А Степка утром — папаше в ноги: „Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно“. А папаша ему произнес: „Ты, говорит, Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону“. Степка начал, было, против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной — он и говорит Степке: „А в писании-то в твоём что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должен. Вот это действительно святые слова“. Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, ревут, и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и в скорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей — глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие — не слышать, только пар из роты клубками в виду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: „Надо повзгодить, покуда он там с своей бабой произведет

ддание”. И только он это сказал — егорова баба сама к нам ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голо- м: „Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться”. Ну, дума- , должно быть, исколотил, — надо вступить за женское суще- ю. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим — самовар кипит, на лавке постель изделана, все же очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как жит: к сундуку прислонен в роде какой куль овса, и голова у него наравнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый жи- г срезаны.

Обомлели мы — стоим без всяких последствий. Спустия, Егор за- еялся нехорошо — так что у меня даже зубы заныли — и говорит и: „Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так те- рь как надо меня кладите при вашей помощи”. И, значит, легла его жа на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим разом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот г прищемил, но даже никакой боли не чую: иду — и все в глазах ображение Егора у сундука.

Вечером в егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. ор — под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли си- г — уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собрав- ьсь — все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я воз- печки, и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шур- т.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спирт- й предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только ) налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с овольствием: „Барин! Барин!” Глядим — а уж барин Тарантаев в ерях. Бритый весь, и дух от него роскошный — видать пищу лег- ю принимает. Кивнул нам эдак — и прямо к Егору: „Ну, говорит, ор, поздравляю, поздравляю”. А Егор лицо ухмыльнул на один к неприятно и произнес: „А позволю себе: с чем вы меня поздрав- ете?” Барин ему ответственно говорит: „В виду, что ты есть гор- сть и герой, приявший за отечество”. А сам дерюжку приподнял, кой были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел — да как по шее его япнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху ткнул Егора, который бок, как куль, а подняться не может, с криком: „Бей его! Бей!” в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий ост, трясется, и вот ничего мне не надо — только в глотку ему вце- гься. Барин Тарантаев, красный, рот разинул — сказать, но об на- г ненавистные глаза обстрекнулся, как вроде об крапиву — и бе- м в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты, действительно, герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. „Но мы, говорит, в скорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет”. Тут как это услышали наши — ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, граждане, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком полный разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и масленица, мороз переменный. И на масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралось труба степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет Бога — это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство и потому ждите — в скорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.

Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: „А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча говорил? Это его работа, уж это будьте спокойны!”

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет Бога в виду предсудков тоже неполное удостоверение, однако, чуем — это все не зря, и, действительно, ждем. Чего ждем не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И при том ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим — про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день или два, а затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади естафета прямо в таран-

вскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится — от мороза распух и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он горит: „Это — оно самое, начинается. Теперь смотрите за усадьбой негупно и мне докладайте”.

На случай часовых поставили меня да еще одного — горбатый тай у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и при и все слышать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. устя, глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и скакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, зчет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, козьй на барыню, как на собаку, просто кричит: „Але!” И, значит, ики — в одну сторону, а этот конный — обратно в другую, то есть нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и — прямо как в виде алкоголя — сам не знаю, чего делаю, руками хаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановил и задает мне: „Что случилось?” — и лошадью мне в морду храпит. я ему безо всяких: „У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?” — то, говорит, не касается. Але!” Я ему в глаза уперся и с выражем говорю: „А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам сается?” И он мне возражает с известным смехом: „Григорий Ефич твой — тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!” — и при эм скачет в направлении.

Тут я что есть мочи — к Егору. В избе у него полное присутствие ших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал доклад, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение ор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в тере происходит торжество революции со знаменами, а у нас тае, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, на и отдаленные звуки в полной связи с вами, и при том ужасный моз. И мы все собрались у егоровой избы в валенках, а Егора в виде ббуны посадили в кошолку с сеном и поставили на розвальни. устя, Егор объявил из кошолки, что мы сейчас идем грудью на зантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили истоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а, может, он е, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, нег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как в роде депного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пол чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидел в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошолки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно ломаем.

Тут мы слышим молчание с шопотом, потом заскрипели ворота — открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошолке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит всюю к цели дома. Вдруг откуда не возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: „Стой!” И как только этот закидьш общества увидел револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и при том сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: „Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы”. А Егор ему грозно задает: „Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!” На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: „Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили”. Тут Егор облютел и на все стороны кричит: „Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой!” — и прочее, то есть разные матерные примечания. „И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера”.

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками — вот так вот, вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И при том кричит: „Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!”

Что, как — не знаем, и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрилсь возле статуи на скамейку, vareжкой сле-

зы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили, и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура; а Егор из кошолки в полном размахе кричит: „Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом — круши весь их роскошный бюджет!”

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к статуе, которая с копьём, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего труппа и говорит: „Это ни в чем невиноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс”.

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и он говорит с выражением: „Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знамения и предлагаю обнажить шапки”.

Я вас, граждане, кратко прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится — индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошолкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла в разрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальной, на которых статуя и Егор в кошолке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: „Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!”

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка — незначительный дымок. И, может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела — и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклематься не успели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: „А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!”

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскретки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч или, вкратце, Гришка — был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все — горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава Богу, существует уж на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждане, в ваши неизвестные ряды.

## Икс

В спектре этого рассказа основные линии — золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень — в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотая, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба — в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роением.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЭПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было „что-то”, что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался теперь дове-

рием народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИК'а — так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о головлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

— А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь... штаники сзади... не то чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

— Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету...

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов — вон там в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить гайну в душе: призвание поэта — открывать душу для всех. И к утру все от восемнадцати до шестидесяти лет знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т. е. нечто, прикрывающее наготу Адамову и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые с красной полоской непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее. Словом прозодежда — это, явно, нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, и раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: „Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видели дьякона?“ Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок-икс, с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной. Эта линия пролегает не по Розе Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выурашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку, — через минуту мы услышим во дворе розовый голос Марфы: „Кузьма Иваныч, это вы? — калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и подписью внизу: „Быть по сему”. Неизвестно, что это значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он — бритый: с тех пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду — ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть — это сушая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит — что же? — значит она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно — как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится ненужным гарниром к собственно правому уху: живет только ухо — глотает шопот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав — и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно — раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (заметьте: рифмой оказалось слово „осечка”). Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался на Розу Люксембург.

Там сейчас подготавливалась катастрофа? Столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра — красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы — и виден был издавека, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли — к нему, как к магниту, повернулась вся улица Розы Люксембург — к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на

невидимом амвоне и с амвона раздавал каждому: „Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра”.

Но один из народа (бас) брякнул:

– Какая там бумага! Ври больше!

– То есть, как это – „ври больше”?

– А так, очень просто.

– Не веришь? Ну, гляди – ну, вот те крест святой, ну? – и, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел – рефлекс другой линии спектра – и (невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа была вызвана тем, что из соседнего облака пыли в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо? Стерлигов из УИК’а. И, конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукой, другую прижал к сердцу.

– Товарищ Стерлигов... Товарищ Стерлигов, простите ради Христ... – и побагровел еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цыгарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал – и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк – и глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

– Осечка! То есть я... я хочу с вами...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу – непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул цыгарку.

– Ну? По какому делу?

– По... по секретному, – шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей – шопот услышали, и он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом – это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадцати до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет – дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной

земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

---

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, — знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе и повести — но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаившись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в „Известиях” УИК’а. Набранная жирным цицero булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление — настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так „Планета Маркс и ее обитатели”. Но мне доподлинно известно: то, что в дьяконе произошло переворот и заставило раскаяться — был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спустилась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги — какова сегодня вода? — плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаившийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: „Эх, должно быть, крупная играет!” — взглянул... и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы — волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-бледные, на черном шнурочке — зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы; одеваться — белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца — пока Марфа нашлавалась, вышла из воды (одно это; как скатывались капельки с кончиков!), оделась — не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: „возлюби ближнего своего”. Для ближнего — она всегда готова была, по евангелию, снять с себя последнюю рубашку. „Ах ты, бедняжка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, ми-

ленький, ко мне — ну поди!” — это она говорила эсеру Перепечко („бедненький, в тюрьме сидел”), говорила Хаскину из ячейки („бедненький — шейка прямо как у цыпленка!”), говорила телеграфисту Алешке („бедненький, все сидит — пишет!”), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! Если я тебя... ну, вот как... ну, не знаю как... понимаешь?

— Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-Богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова — и в саду еще горьчее вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.

Как-то раз вместо сахара гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босьми ногами по железу — красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседки ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у нее был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть — горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз, другой — выругался:

— Фу ты, ч-чорт! И тут краской воняет — никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Не удивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одевайтесь — схватил штаны... Владычица! — не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника — все сиденье красное, и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

— Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! — кричала дьяконица. — Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самому, землетрясение, роды, катцен-яммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, на Марфе.

— Ах ты, бедненький! Ну, поди, поди ко мне... Да что это у тебя глаза такие чудные?

— Что — глаза! Тут мозги наперекосы пойдут — от всего от этого.

Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИК'а — неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перельгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие разворачивается одновременно на обеих площадках: справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьерро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит, наконец, какое-то слово — у Стерлигова цыгарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем поднимает обе руки к алешкиной голове — будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-то вроде: „Ну, если врешь — голову с плеч долой!“ И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке — явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупое, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там защита кошки: это — свирепое стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: „Ты мне почему сегодня утром капитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори — кто? Слышишь?“ Марфа подымает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку „агу-агуношки“. Это на дьякона уже не действует — мозги у него, явно, пошли на перекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, — видно, как он говорит только (текст приблизительный): „Ну, ладно — погоди!“ — и уходит с твердым решением (кулак в кармане камнеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится — дождь пропустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить — как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом — бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком — барышня, из этой особой породы — секретарш (в собачьей вселенной — секретаршами служат, несомненно, болонки).

У Стерлигова сквозь меха на лице — или от волнения — голос глухой:

— Папалаги у себя?

Болонка хрюкнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

— Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самым товарищем Папалаги. На столе возле него — тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ее ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги — громадные, черные, острые, греческие — или еще какие усы...

— Ну, гражданин... как вас? ага? — рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь, с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче ут-

ром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер, явно, ночевал на сеннике в сарае.

— Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше... — Папалаги нажал звонок, в дверях — желатинное лицо. — Вот что — сегодня вечером на Блинной улице... Впрочем — потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это уж Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

— Чорт возьми! — понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдали прозодежду... И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтобы реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.

— Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

— Ну, у Перелыгина, так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотней на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта — представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов), и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шопотом заволновались:

— Сюзин! Сюзин из Упродкома! Сюзин!

Слабое мание руки великого Сюзина, треск отдираемых от дверей досок — милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал — как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:

— Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюзин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно — как закурив, бросают спичку:

— Прозодежда.

И от сюзинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:

— Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам — шиш? Граждане, трудящиеся, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг — пожалуй, даже без „как будто”: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды — волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону. И выдали спички — один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще — как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

---

Раскаившийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконищу, детей, деньги, диван — все прочные д дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных р: фотография Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку — все эти р закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы — где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте — кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некой спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый дьяконов нос — там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться — надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили, — конец! Перекреститься бы — но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене — меховой, похожий на Стерлигова Маркс...

От Стерлигова — как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежащий стоверстный дьякон и крошечный в уголку — соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели интернационал — и невозможно, чтоб все это было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей-Богу же — никакого Бога нет, а есть... а есть... Что, ну — что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромном зале — за сто верст, на дне — мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушонка за роялью играла миньон, в мешочных рубашках милиционеры пятились назад, натываясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.

Дьякон крикнул:

— Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с цыгаркой:

— Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога... Мне — по срочному делу: нельзя ли сейчас? — узнайте.

— Ладно... — и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью колокола с интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издал — за сто верст — услышал сквозь дым:

— Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты дошло до дьякона это слово — „задержать”. Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически-мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона — и под музыку, пятясь, как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько мог, воздуха — сломя голову вниз по ступеням, на улицу — и побежал.

Как в поезде — столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг кто-то косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад — нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную вереву у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом дьякона:

— Выдали!

Кто выдал — все — равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко — как птичку, которая сейчас улетит — он держал кусок черного хлеба.

Выдали, — крикнул он, — заместо прозодежды! Я — последний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой! Но Алешка схватил за рукав:

— Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна — на ступенях стоял Сюзин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев — тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюзина:

— Так ты говоришь — хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось. Сюзин упал, на него надели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно — рука Сюзина с зажатым в ней ключом...

---

Здесь несколько вычеркнутых строк — или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на р, как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свещивалась вниз сирень — сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах — тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно, революционно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее — туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь е г о.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень — сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голову — как тогда на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтобы поднять занавеску, — но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидал е г о. Лица не разобрать — было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.

В кармане — далеко, за сто верст — дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть о н залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перельгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за

угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы погуло: значит, она ждет...

Дьякон немного помедлил — как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полкой — и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, шлепущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтобы одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешенней: на скамейке дьякон никого не нашел — и ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела — быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму — вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона — это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать — куда глаза глядят!

Дьякон несся по Блинной — огромный — и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял по середине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры... ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перельгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло — как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И, конечно, немислимо, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене — и ахнул: этот в канотье — раздвоился

и теперь уже двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перельгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл о н — споткнулся — отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища — оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаз, — дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный, запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: „Доктор И. И. Феноменов. Прием от 10 до 2”. Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище — дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором — и решил ждать, когда начнется прием у Феноменова.

Но дожидаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался о н, в белом канотье. И о н размножился с ужасающей быстротой: о н был уже не раздвоенный, а распятеренный — в пяти канотье. Дьякон понял, что это — конец, деваться некуда, и заорал: „Сдаюсь! Сдаюсь!”

---

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

— Фамилия?

— Индикоплев, — ответил дьякон.

— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст — дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

— Родителей не... не было.

Папалаги — как рога — наставил на него страшные черные усы:

— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона проколело. Значит, уже все известно — тогда все равно.

— Я сознаюсь, — сказал он. — Я перекрестился. Хотя и отрекся, перекрестился публично, я сознаюсь.

Папалаги обернулся и кому-то в угол:

— Что он — сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! — Папалаги нажал кнопку.

И тогда вошел о н — неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:

— Он самый... пять шляп — эти самые... Пожалуйста, не надо. Ради Христа... то есть — нет, не ради!

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворялся сумасшедшим:

— Увести его в десятый — и сами ко мне сейчас же!

Когда дьякона увели, и затем в кабинете выстроились все пятеро во франтоватых канотье, — Папалаги закричал:

— Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

— Это, видите ли, товарищ Папалаги... это, согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

— Сейчас чтобы снять! Ну, слышали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

1926

## Десятиминутная драма

Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, неся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:

– Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!

Этот возглас был прологом к драме, в нем уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны – труд, с другой стороны – нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося Деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошел очаровательный молодой человек с номером московских „Известий” в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гри-перлевые брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие – на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский Остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить; не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.

И, наконец, он появился. Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, неощутимое землетрясение колыхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...

— Тютюка, тютюка... Тютечек ты мой!

Он нагнулся — погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.

— Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? — сказал он. — Им-мею полное право, да! Потому — вот они мозоли, вот, глядите!

Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный молодой человек.

Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа — белые, красивые — от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком — и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались все шире — и, наконец, в полном восторге он воскликнул:

— О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну, и хорош! Милый ты мой!

Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.

Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило — и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.

— А бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! — вдруг сказал он, вставая. — Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шуществую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!

Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погигло: в синяках, окровавленному — нельзя же ему будет предстать перед своей Ма-

рией. Двадцать пять пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.

Мастеровой подошел к молодому человеку, вынул руку из кармана...

Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза — чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:

— Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!

— Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! — угрожающе буркнул мастеровой.

Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.

— Большой Проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! — пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.

— Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я еще не слезу! Я останусь!

Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.

Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. „Известия” трепетали на грипперлевых брюках.

— Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! — сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над „членом капитала”.

— Ну, — сказал он, — я слезу и может никогда тебя больше не увижу. А на прощанье — я тебя сейчас...

Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.

— Стой! Не смей! — крикнул мастеровой. — Дай кончить!

Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь — и закончил фразу:

— На прощанье... Красавчик ты мой — дай я тебя поцелую!

Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы — и вышел.

Секундная пауза — потом взрыв: трамвайная аудитория надрылась от хохота, трамвай грохотал по рельсам все дальше — сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей Невы.

## Мученики науки

### 1

Начиная с Галилея, все они перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, СПб. 1901 г.). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой французенке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода — и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом — пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов

лежала эта ее ошибка — пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислав.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку Анну и полковник Столпаков продиктовал ей:

— Пиши расписку: „Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких-либо членовреждений и с производством в чин генерала”.

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только наполовину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через неделю после производства немецкий снаряд снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог уже пускать табачных колец, а стало быть и жить.

Газету с известием о безголовьи Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и величественным голосом кричит вниз зевакам: „Чего не видали, дураки?” — вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

— Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III вернулась нежная женская душа, Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

— Ростислав, столпаченок мой, единственный...

С тех пор — был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпаковой — его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны — этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бушующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг. Громыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг — заговорил. Никто до тех пор не слышал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась — Яков Бордюг вдруг произнес речь:

— Это выходит... Это, стало быть, я теперь вроде... это самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была — в очень сжатой форме — декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

— Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей — живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался — и пошел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того же рефлекса распрег лошадей, засыпал им овса — и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаковский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сейфы антисейсмической конструкции, как-то: самоварные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья. Поэтому все содержимое сейфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции — в мезонине у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день — в воскресенье. Вечером он, как каменный гость, прогромыхал по лестнице на мезонин, — выложил перед Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки — и сказал:

— Ну... благодарим, прощайте.

В ответ — разгневанный императорский бас:

— Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню — самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами — он занимался в течение трех следующих глав.

## 2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных родителей дети — человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катастрофам.

Общественное призвание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедна морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

— Дайте-ка мне, — сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута — и все было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

— Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это, наконец, было сказано: профессор. Рукою бедного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, — в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела всех к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляет из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего профессора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская безрукавка.

— Поди сюда! — вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сергеевна. — Стой... Снимай! — она ткнула пальцем в безрукавку. — Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем все это было — пока никому не понятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря — упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром — с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали что-то забытые руки из-под скамьи. Все руки — красные от зари и от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка Бордюга, густо простеганная... чем бы вы думали? Гагачьим пухом? Ватой? Нет: сахарным песком. Кроме того, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час — и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию...

Варвара Сергеевна осторожно запахла на груди безрукавку — так осторожно, как будто вот сейчас ее бьют вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестного пола (бабья куцавейка и борода) понимающе взглянул на бьют, осенил себя крестным знаменем и сказал:

— Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Кооперативные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: „Идут!“ Под окном на станции запел петух — видимо, молодой: он знал только пол-петушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скомандовала:

— Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам, мешкам, чемоданам, портплекдам, баулам: в вагон уже входили они, заградилловцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади — три бабовидных солдата с винтовками на веревочках.

— Ну-ну, граждане, веселей — расстегивайся, распоясывайся! — крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал — и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и, прищурясь, глядел на одну из кооперативных гражданок.

— Ты что, тетка, из Киева, что ли — из киевских пещер?

— Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.

— А почему же у тебя глава мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

— Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе — у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной обертке...

— А у вас? — морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую козровую сумку: там были только законные вещества.

— Это все? — парень остановился и острым мышинным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и впустила его в себя, внутрь — как будто внутри ее не было ни сахара, ни...

Ку-кка-рекк... — опять запнулся начинающий петушиный поэт за окном.

— Да закройте же... — начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда — левого и правого — молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была, как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не знает о ней — но зато знает что-то другое.

Это другое — был сахар: стеганую сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

### 3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика — в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги, бисквиты.

С корзиной в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: „Ку-ккаре-ку!“ — это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпой, над всеми головами — чью-то одну голову на тончайшей, жердяной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

— Вы меня помните? Я — Миша.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства — тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, казалось, что как во времена Марата — добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом — эта трагическая, окровавленная голова — кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сергеевну. Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава и подала Мише: — Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело — но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стрекозы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна — перед раскрытым окном. За окном в сирени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены во 2-й ступени — и самый серьезный экзамен начинался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы она увидела заткнутый за щеколду букет сирени, а к букету была приколоты записка следующего содержания:

„Я к вам — с сиренью, а вы ко мне — с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.“

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого „М.“ — Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май...

— Вы... вы чувствуете: мы — вдвоем? — задыхаясь сказал Миша.

— Да, — сказала Варвара Сергеевна.

— И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем навсегда... Я играю на трубе в Нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна — да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава единственного... Нет, уже не единственного! Несокрушимый, казалось, волнолом треснул, расселся на две половины, вступивших в смер-

тельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

— Завтра вечером... Приходите... я вам тогда скажу, — ответила, наконец, Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен — политграмота. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

#### 4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

— Студент ты мой! Столпаченок мой, един... — Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолоки, он начал приветственную речь:

— Как, знычь, вы... вроде, например, лошадь на ярманке... и ежели благополучно продамши и, знычь, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

— Ладно, ладно, спасибо... Иди к себе на кухню... — сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая, как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна — и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она растегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосился, но крикнул, умирая: „Мама!“ Варвара Сергеевна бросилась к нему:

— Что ты? Что с тобой? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь, — прочла...

В газете была статья о том, что необходимо, наконец, изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолоки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном — робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

Да... Да! — отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. — Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое „это одно“, но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, Мадонну, мать — все в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово „Варечка“. В бюсте у нее запело, но сейчас же, на полупhrазе, оборвалось.

— Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если бы вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... — Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: — Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

— Варечка!

— Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда же пойдем...

— В Загс? — крикнул Миша.

— Как вы догадались? — удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где — как буржуазия и пролетариат — рядом живут мать и любовница, заключают временные соглашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже — с Яковым Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Морщинкер, а за ним — Яков Бордюг: Миша понял: свидетели для Загса. Морщинкер был в сюртуке, на

Яков Бордюг был новый синий картуз — он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы — быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в „розовой гостиной” бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: „Просят отнюдь граждан на столах не разлагаться”. И под плакатом сидел человек, в кепке, как судьба — одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и прочим гражданским состояниям.

— Вступаете в брак? — сказал он, закуривая папиросу. — Невеста? — Он взял у Варвары Сергеевны документ, перелистал. — Гм... Ростислав, семнадцать лет... Гм... Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

— То есть... его — вроде как мой...

— Как? — человек за столом даже выронил папиросу.

— Да, — твердо сказала Варвара Сергеевна. — Хотя он и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего... от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет в виду нового строя и вступления со мною в брак.

— Как? — крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

— ... и вот эти двое граждан, — Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, — подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:

— Да... Подтвер... ждаю...

— Да, и я говорю тоже — да, — подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно — студент и будущий профессор.

Когда вернулись на мезонин (второе — Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

— Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди... Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

— Иди же, ставь самовар, — сморщилась Варвара Сергеевна.

Каргуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, прогребил пятерней караковые лохмы и сказал:

– Иди ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

– Ты кто мне теперь – жана. Ну, так и иди ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

## Часы

В этом рассказе не появляются на сцене никакие в Бозе почившие высокие особы. Мой скромный герой Семен Зайцер — или, если угодно, товарищ Зайцер — благополучно здравствует по сей день и проживает все там же, в доме № 7 по Караванной улице в Ленинграде. И тем не менее — это рассказ исторический, ибо описываемые здесь происшествия случились в ту романтическую эпоху, когда время в России считалось еще на года, а не на пятилетки, когда водка была объявлена буржуазным ядом и жаждущие забвения пили одеколон, когда в синей морозной пустыне петербургских улиц всю ночь щелкали выстрелы, когда веселые бандиты отпускали домой прохожих в одном воротничке и галстук, когда лучшим подарком любимой девушке был перевязанный ленточкой фунт сахара, когда всего за один воз дров товарищ Зайцер приобрел свои знаменитые золотые часы.

Зайцер был великий человек: он заведывал заготовкой дров для замёрзающего Петербурга, он подписывал дровяные ордера; он согривал людей, как солнце — круглый, рыжий, сияющий. И если вы осмеливались когда-нибудь смотреть на солнце, вы заметили, вероятно, что у него не только сияющий, но как бы несколько ошеломленный своим собственным сиянием вид. Именно такое самоудивление было на лице товарища Зайцера: брови у него всегда были выразительно вздернуты вверх, как будто он до сих пор никак не мог поверить, что он, Зайцер, вчерашний портновский подмастерье в городе Пинске, сидит теперь в собственном служебном кабинете, что в

его распоряжении находится секретарша Верочка, что у него в жилетном кармане лежат золотые часы, что...

Впрочем, раскроем лучше все карты сразу и, не тратя драгоценных строк, скажем прямо, что вышеупомянутый фунт сахара с розовой ленточкой был преподнесен именно товарищем Зайцером секретарше Верочке, и что золотые часы были им приобретены тоже ради Верочки — в качестве противоядия серебряному кавказскому поясу, на днях появившемуся на тонкой талии товарища Кубаса, секретаря коммунистической ячейки и редактора стенной газеты в зайцевском учреждении.

Но Верочка — увы! — не замечала знаменитых золотых часов. Товарищ Зайцер уже несколько раз щелкал крышечкой, он положил часы перед собой на грудку бумаг, а Верочка по-прежнему рассеянно смотрела в окно на медленные хлопья снега. Товарищ Зайцер, наконец, не выдержал и сказал:

— Слушайте, товарищ Верочка, вы видели такие часы, а? Так я вам скажу, что вы — нет, не видели!

Он сверкнул в воздухе часами, сунул их в жилетный карман — и Верочка сейчас же услышала как бы исходившую из недр самого Зайцера нежнейшую феиную музыку и затем серебряный звон: девять. Верочка широко открыла глаза (они были синие). Зайцер, сияя, объяснил, что стоит только незаметно нажать в часах „вот здесь“, на ихний, так сказать, животик, — „и вы уже имеете и музыку, и время!“ Верочке сейчас же захотелось попробовать самой — можно? Боже мой, ну что за вопрос! Ну, конечно!

Верочка подошла к товарищу Зайцеру. Она стала нащупывать ручку скрытую в его груди (точнее — в жилетном кармане) музыку. Совсем близко перед глазами Зайцера была ее шея, ее обнаженная до локтя рука. Верочка была вся чуть позолочена, она вся была покрыта тонким золотым пушком, она была слегка меховая — и может быть, именно это-то в ней и было то самое, что могло свести с ума хоть кого. Когда Верочка нашла, наконец, часы и надавила на них рукой, это было так, как будто она тихонько сжала в руке сердце товарища Зайцера. Его пойманное сердце забилося, он решил: как только часы кончат свою музыку — он немедленно скажет Верочке то, что он давно уже хотел сказать, но все никак не мог набраться храбрости.

Очень вероятно, что он и в самом деле сказал бы, если бы в этот момент в кабинет не вошел товарищ Кубас. Верочка, покраснев, выпрямилась. Зайцер зашуршал бумагами, ядовитый змеиный хвостик улыбки мелькнул и спрятался в углу губ товарища Кубаса. Он нарочно помедлил секунду и затем подсушенным официальным тоном заявил, что товарищ Вера должна быть сегодня откомандиро-

вана для составления очередного номера стенной газеты. Зайцер приветливо улыбнулся:

— Дорогой товарищ Кубас, вы же забываете, что сегодня вечером у нас заседание и я должен продиктовать моей (подчеркнуто) секретарше доклад о весенней кампании по заготовке дров. Товарищ Верочка, принесите сюда свою пишущую машинку, я вас прошу...

Верочка вышла. Снимая чехол с машинки, она слышала сквозь дверь кабинета, как голоса там становились все громче, как они поднялись до крика. „Без нее я не могу выпустить стенгазету! Вы срываете работу по политическому воспитанию трудящихся!“ — кричал Кубас. „А вы суете свою палку в колесо отопления красной столицы!“ — кричал Зайцер. Верочка знала, что именно от нее зависит политическое воспитание трудящихся и отопление красной столицы. Но она до сих пор не могла понять своего сердца: кто — товарищ Зайцер или товарищ Кубас? Зайцер — уютный и теплый, у него дрова и часы и квартира (не комната, а целая квартира!). У Кубаса — пережатая серебряным поясом тонкая талия, у него острые птичьи глаза, с ним страшновато, но...

Что „но“ Верочке было неясно. Ясно было только одно, что срок пришел, что если не сейчас — там, в кабинете, то сегодня вечером, ночью, завтра утром все должно было, наконец, как-то разрешиться. Но как? Как — чтобы не пришлось потом жалеть о сделанной ошибке? Верочка вздохнула, своими пушистыми руками осторожно подняла тяжелую, как судьба, машинку и понесла ее навстречу роковым решениям в кабинет.

— Сидите, прошу вас, — сказал Верочке Зайцер. — Я сейчас буду вам диктовать.

— Ах, так? Очень хорошо! — товарищ Кубас клынул Зайцера глазами и вышел.

Верочка положила руки на клавиши. В тишине было слышно, как тяжело дышал Зайцер. Он смотрел на ее руки. За окном падал пушистый снег.

— Да... Так вот, значит — весна, — сказал Зайцер.

— Весна? — удивилась Верочка.

— Если я говорю, что весна, то, значит, да, весна. Пишите: „К началу нашей весенней кампании“...

Товарищ Зайцер, наперекор стихиям, был прав. Вы думаете, что весна — это розовое, голубое и соловьи? Сентиментальный предрассудок! На снежной поляне два вчера еще пасшихся рядом оленя вдруг кидаются один на другого из-за оленьей девушки — это весна. Вчера еще смиренные, как олени, люди сегодня становятся героями и окрашивают снег своей кровью — это весна. Цвет весны не голубой, не розовый, а красный — опасности, страсти, лихорадки, сражения.

Вечернее заседание в зайцеровском кабинете было сражением, вернее поединком. Верочка лихорадочно стенографировала выстрелы — иначе нельзя было назвать реплики, которыми обменивались противники. Каждый пункт в докладе Зайцера Кубас осыпал двенадцатидюймовыми цитатами из Ленина. Каждый куб дров становился чем-то вроде знаменитого „дома паромщика” в марнских боях.

— Слушайте, товарищ Кубас, этак мы и к утру не кончим! — не выдержал председатель.

Чтобы не компрометировать себя капиталистическим блеском золота, Зайцер еще в начале заседания положил свои часы в ящик письменного стола. Теперь он незаметно выдвинул ящик, взглянул: двенадцать. Уже замолкли звонки последних трамваев, уже вышли на промысел ночные бандиты, когда, наконец, началась баллотировка. Верочка в лихорадке подсчитывала голоса: она знала, что голосуются не кубические метры дров, но человеческие сердца.

Десять голосов против одного. Этот один, разбитый наголову, туго стянув свой серебряный кавказский пояс, ушел, не прощаясь ни с кем. И, разумеется, счастливый победитель — Зайцер отправился провожать Верочку домой.

Чуть сияющие снегом ущелья улиц были темны и пусты: нигде ни души, ни единого огонька в черных окнах. Если бы товарищ Зайцер был теперь в этой пустыне один, он, может быть, шел бы на цыпочках, чтобы не было слышно скрипа его сапог на снегу, он, вероятно, шархнулся бы от первого встречного в сторону, он, конечно, пустился бы бежать во всю прыть. Но сейчас, когда где-то впереди мелькнул выстрел и теплая рука Верочки вздрогнула в его руке, Зайцер только засмеялся:

— Ну и что? Пусть себе стреляют, я же с вами.

Это был новый, героический Зайцер. Этому Зайцеру даже хотелось, чтобы случилось что-нибудь страшное, он ничего не боялся. Кроме только одного: предстоящего сейчас объяснения с Верочкой. Боже мой... как, с чего начать? Начать — это страшнее всего.

Зайцер неистово крутил пуговицу своего пальто, как будто она-то именно и мешала ему раскрыть рот. Пуговица, наконец, оторвалась, Зайцер заговорил:

— Я вам хочу сказать, Верочка, одну вещь...

„Вот оно!” Верочкина рука вздрогнула, как недавно от выстрела.

— Какую вещь? — спросила Верочка, хотя она и отлично знала — какую.

— У моей мамы — кошка вчера окотилась, — выпалил Зайцер.

Верочка в полном недоумении посмотрела на Зайцера. Зажмурив глаза, он продолжал умиленным, теплым голосом:

— ... Знаете, лежит и себе поет, и семеро котят. И я смотрю и говорю: „Ой, Семен, ты тоже мог бы петь, как эта счастливая семейная кошка...”

По-видимому, Верочка слишком живо вообразила товарища Зайцера в счастливом положении семейной кошки: ямочка на правой щеке у ней задрожала, она закрыла рот рукой. Зайцер увидел это и понял: она сейчас вслух засмеется — и тогда погибло все... Он в ужасе ждал этого смеха, как в романах Толстого герои ждут взрыва крутящейся бомбы.

И вдруг он почувствовал, что пальцы Верочки крепко стиснули его руку, она вся прижалась к нему. Зайцеру захотелось неистово закричать от счастья. Он нагнулся к Верочке ближе...

— Да смотрите же! — испуганно шепнула ему Верочка.

Тогда Зайцер увидел: с противоположной стороны улицы наперез им быстро шел высокий человек в военной шинели без погон. Одну секунду, не больше, существовал прежний Зайцер, попятившийся назад. Но тотчас же новый, героический Зайцер scomандовал Верочке: „Прячьтесь в подезд!”, шагнул навстречу бандиту и, заняв позицию недалеко от проглотившего Верочку темного подъезда, остановился. Зайцер весь дрожал, но это не был страх: так, бурля, дрожит паровой котел, напряженный до предела своих пятнадцати атмосфер.

Человек в военной шинели подошел и тоже остановился. Страшная бесконечная пауза. Зайцер не мог больше ждать. Пересохшим голосом он сказал:

— Ну, и что?

Держа руку в кармане (револьвер!), человек молчал. Зайцер успел схватить глазами наглые, как у кайзера Вильгельма, усы и очень белые, крупные зубы.

Человек молчал, явно издеваясь: это для Зайцера было ясно. И еще яснее это стало, когда усы зашевелились и хрипло спросили:

— Спички есть?

Зайцер кипел, ему хотелось сразу же кинуться, ударить, но он принял вызов, он притворился, что поверил в спички, он достал коробок, зажег. Человек нагнулся к Зайцеру совсем вплотную, бесцеремонно взял его рукою за борт пальто, отогнул — чтобы ветром не задудло зажженную спичку, закурил. Зайцер увидел: на пальце человека блеснул перстень (снятый с кого-то, может быть, в эту же ночь). Зайцер почувствовал легкое, едва заметное прикосновение чужой руки. Он хотел уже потушить спичку, чтобы не видеть этих издевательски шевелящихся усов, как вдруг в красноватом пламени спички перед Зайцером проплыли в воздухе... золотые часы.

Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы Зайцеру стала ясна вся механика проделанного бандитом трюка с закуриванием папиросы. И еще доля секунды, чтобы схватиться за свой жилетный карман: часов там уже не было. Сердце у Зайцера бешено забилося, он бросил еще горящую спичку прямо в лицо грабителя, выхватил у него свои часы и дико заорал (он никогда не думал, что у него может быть такой голос):

— Руки вверх! Застрелю! — и сунул руку в карман своего пальто.

Этот жест был так решителен, отпор был так неожидан, что бандит поднял руки вверх, а затем, не дожидаясь, пока Зайцер выстрелит, согнулся и, делая петли, побежал в темноту за углом.

Зайцер вынул из пальто платок (никакого револьвера, конечно, у него там не было) и вытер пот. Он еще весь дрожал, когда к нему подбежала бледная Верочка.

— Что? Что? — схватила она его за руку.

— Ничего. Вот... — Зайцер встряхнул на ладони отвоеванные часы. — Негодяй! Он их уже вытащил, вы понимаете? Но он-таки серьезно ошибся со мной.

— Но как же вы не боялись, что он... Нет, я даже не думала, что вы — такой! — глаза у Верочки восторженно блеснули.

— Я вам скажу, Верочка, что если бы он даже выстрелил, то мне это все равно, потому что я сейчас как сумасшедший, потому что я вас... Ой, Боже мой, вы же, Верочка, знаете!

Верочка, блестя глазами, молчала. Но там, внизу, в темноте, рука Верочки, ласкаясь, как кошка, медленно вползала в рукав Зайцера, его ладони коснулась кисть, покрытая невыносимым пушком. Сердце Зайцера оторвалось, как от ветки сладкое, спелое яблоко, и упало вниз.

— Ну, и что же вы молчите? Я же не могу больше! — крикнул Зайцер.

— Я вам лучше скажу завтра утром, хорошо?

Но Верочкины глаза и легкое движение ее руки все сказали Зайцеру уже сейчас... На утро осталась, по-видимому, только банальная счастливая развязка. Впрочем, не правильнее ли будет сказать, что банальной из зависти называют ее те, кому не дано судьбой чувствовать весну в любое время года.

Неизвестно, спал ли товарищ Зайцер в эту весеннюю снежную ночь (едва ли). Неизвестно, спала ли Верочка (может быть). Но на утро к приходу товарища Зайцера все в его учреждении уже знали, что он — герой. Когда, наконец, он появился, его окружили, его засыпали вопросами, поздравлениями, улыбками. Не останавливаясь, пробормотав что-то неясное, Зайцер устремился в свой кабинет. Странно, но вид у него был совершенно не соответствующий его героическому по-

ложению: он был растерян, бледен. Может быть, это был результат бессонной ночи, может быть, он слишком волновался в ожидании встречи с Верочкой и ее обещанного ответа. Еще страннее было, что, вбежав в свой кабинет, он только испуганно, боком взглянул на Верочку, кивнул ей и сейчас же кинулся к письменному столу. Торопливо растегнув пиджак, он вынул свои золотые часы, бросил их на грудку бумаг, выдвинул ящик стола — и, нагнувшись над ним, застыл. Брови его были подняты до крайнего, допускаемого природой, предела.

— Что случилось? — испуганно подбежала к нему Верочка.

— Что случилось? — чужим голосом сказал Зайцер. — Вот что случилось!

Из ящика письменного стола он достал и рядом с золотыми часами положил... золотые часы. Верочка круглыми глазами смотрела, ничего не понимая.

— Так я же его ограбил — этого негодяя! — в отчаянии закричал Зайцер. Вот же мои часы, они себе лежали здесь, а тот подлый бандит имел свои часы, вы поняли, да?

Верочка поняла. Зайцер увидел, как задрожала ямочка на ее правой щеке. Она отвернулась. Какой-то странный звук, похожий на задушенное рыдание, через секунду — взрывы неистового, неудержимого смеха — и Верочка стремглав вылетела в дверь.

Вероятно, она упала там, корчась, задыхаясь, на первый попавшийся стул. Из кабинета было слышно, как она сказала, вернее, крикнула что-то столпившимся около нее сослуживцам — и следом за тем стихийная катастрофа хохота, перекидываясь из комнаты в комнату, из этажа в этаж, охватила все учреждение товарища Зайцера.

Засунув пальцы в волосы, он сидел один в кабинете. Перед ним лежало двое золотых часов. Когда скрипнула дверь и в кабинет просунулась чья-то голова, Зайцер, не поднимая глаз, пробормотал:

— Я сейчас занят. Завтра...

Больше уж никто не рисковал к нему войти — и меньше всех Верочка: она знала, что, как только она его увидит, — она не вытерпит и опять засмеется ему в лицо.

Когда в учреждении затихли последние шаги, захлопнулись последние двери, Зайцер встал, сунул в карман свои (настоящие свои) часы, подошел к столику, на котором стояла прикрытая чехлом Верочкина машинка. Горькими глазами он посмотрел на ее пустой стул, прижал руки к сердцу. Рядом с сердцем помещались часы — и эти проклятые, погубившие его часы, заиграли свою музыку. Зайцер яростно надавил рукой, чтобы эта музыка перестала, в часах что-то хрустнуло — они замолчали.

Пустые, обезлюдившие комнаты, лестница, вестибюль. На стене в вестибюле Зайцер увидел экстренный номер стенгазеты, выпущенный сегодня Кубасом (и, может быть, Верочка ему помогала). Там был изображен маленький смешной человечек с свирепо вздернутыми бровями, в каждой руке у него были огромные часы. Внизу была крупная подпись: „Руки вверх!“

Зайцер поспешно отвернулся и вышел, навсегда, из своего учреждения, из сердца Верочки, из этого рассказа.

Париж, июль 1934

## Лев

Все началось с происшествия совершенно фантастического: именно — великолепный царь зверей лев оказался вдрызг пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копье: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно — и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса — лев подложил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у „красного директора” театра шло SOS’ное заседание.

В дверь постучали и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. „Красный директор” (он сейчас на самом деле был красный — от злости) накинулся на него:

— Ну, что, что, что надо? Некогда! К черту!

— Я, товарищ директор... я — насчет льва, — сказал пожарный.

— Ну, что насчет льва?

— Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть...

Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный, в чугунных сапожищах, Жеребякин гораздо

больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он божился, что выйдет, что из-за кулис смотрел на все репетиции, что он, когда еще был солдатом, играл в „Царе Максимилиане”. И в пик ухмыльнувшись режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку „марш льва”. Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз – и запнулся.

– Падай же, черт... падай! – бешеным шепотом зашипел на него режиссер.

Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент – опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, держась за спину и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская (впрочем, в медведях – всегда есть что-то детское, – не правда ли?).

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить:

– Ну, товарищ, назвался львом – полезай в шкуру. Лезь, лезь. брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что эта была за экстренная надобность – он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин – кандидат в партию, что он – ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить – и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра.

– Ну, куда, зачем его черт понес? – снова красный от злости спрашивал директор. – Какие-такие у него секреты?

Красному директору никто не мог ответить: секрет был известен только Пете Жеребякину – и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет.

Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то

легчайшего ветерка Петербург исчезает: вместо него — Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним Дворцом, у решетки Александровского сада — милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка новых трамвайных рабрич. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо милиционера — круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное: милиционера хватают за руки, за плечи — и, наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером — и милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жеребякиным — девушка в милиционерской фуражке и гимнастерке, первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз — искры.

— Стыдно вам, товарищ, — только и сказала она Пете Жеребякину, но как сказала! Он растерялся, он забормотал виновато:

— Да это же ей-богу не я! Я просто домой шел...

— Эх ты... А еще рабочий! — посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела!

Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк — и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра — снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театр домой, и снова у решетки Александровского сада — милиционерка. Жеребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него — и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря, сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии, и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну, как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету...

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума — и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спросил милиционерку:

А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть не при исполнении, а вообще — как ваша служба вроде военная...

— А зачем — замуж? — опершись на винтовку, сказала Катя-милиционерка. — Мы теперь — как мужчины: хотим и так любим...

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина — и договорила:

— Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял... Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захлопал...

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше: его дело — конченное...

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда случилось невероятное это происшествие, что лев, Божьим изволением, напился пьяным — Петю Жеребякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору...

Впрочем, это все — уже позади: сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это — рядом с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка — это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у нее проступали росинки — и никогда она не была милее, чем вот такая, д о м а ш н я я.

Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле — она не поверила. Потом — заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него (но как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом, балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребякина волновались режиссер и директор.

— Помни: ты ударник! Смотри — не подгадь! — в львиное ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх — и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился — и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось — он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом воруя свои, сразу ставшие чужими руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову — и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два! — и остановилось. Он весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него копьё. Раз! — ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так — и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни — куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа...

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное: смертельно раненный лев стоял неподвижно на верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услышали, как режиссер страшным шепотом крикнул: „Падай же, черт, падай!“ И затем все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился — и камнем рухнул со скалы...

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

1935

**Пантелеймон Романов**  
**(1885 — 1938)**



## Родной язык

1917 год

На длинной платформе вокзала колыхалось целое море голов, солдатских шинелей, со вскинутыми на плечи сундуками и мешками.

Когда какой-нибудь солдатик в съехавшем набок картузе протискивался со своими мешками через толпу ближе к платформе, раздавались такие крики и ругань, как будто он всем одновременно наступил на ноги.

Издали донесся свисток паровоза, и головы всех повернулись к подходившему поезду.

— Ну, прямо невозможно стало ездить, — сказала женщина в дорожной поддевке и теплом платке, — ругань везде такая, что сил нет.

— Привыкнешь, — сказал стоявший рядом с ней солдат с мешком и привязанным к нему чайником, недовольно покосившись на нее.

Паровоз, обдав людей холодным паром и скрыв в нем на минуту платформу, пронесся мимо. Толпа загудела и, спираясь воронками у входов на площадки, полезла, не дав поезду остановиться.

— Дуй напрямки, Господи благослови.

— Куда на человека прешь, я те благословлю, мать!..

Минут пять стоял сплошной гул, из которого только вырывались отрывистые хриплые крики:

— Ах, мать... Куда, мать...

Первым вскочил в вагон солдат с мешком и чайником, за ним женщина в платке, потом какой-то добродушный солдатик, который

только улыбался, высовывал свой узелочек над головами кверху и покрикивал:

— Легче, легче, родимые... все огузья оборвете...

Несколько времени все стояли молча в тесноте.

— Ну, и развязались язычки, — сказал добродушный солдатик, оглядывая полки и ища, куда пристроить свой узелок.

— Да, уж всех родителей помянули.

— Без этого нельзя.

— А зачем ругаться-то, — сказала женщина, разматывая съехавший на глаза платок, — что тебя за язык, что ли, тянули.

— А куда ж ты без ругани нынче сунешься, — отозвался, недовольно покосившись на нее, солдат с чайником, утирая рукавом шинели пот с лица, как после тяжелой работы, — тут, когда все горло проде-решь, тогда только и проткнешься.

— Молитву бы сотворил, — заметила старушка с лавки.

— Молитву... что ж, тебя оглоблей, скажем, в бок саданули или, не хуже теперешнего, сундуком в рыло заехали, ты и будешь молитву читать... — сказал угрюмый солдат от окна.

— Двинул матом, как следует, вот и ладно.

— На что лучше.

— И все нехорошими словами, — сказала старушка, не обратив внимания на слова угрюмого солдата. — Вместо того, чтобы пере-креститься перед дорогой, он по матерному.

— Это у нас вместо — Господи благослови идет, — сказал солдат с чайником.

— Вот, вот.

— Это, брат, для всего годится, — лошадь ли подогнуть, в вагон ли пробиться, — и везде тебя понимают.

— В лучшем виде.

— Как же, иной раз просишь честью: господа, дозвоьте пройтить, — ни черта, как уши свинцом залили. Потом, как двинешь, и сразу прочистится.

— Момент.

— Нешто можно без ругани, — сказал угрюмый солдат, — они уже прирону кверху тормашками хотят перевернуть.

— А я вот на Кавказе служил, так там никак не ругаются, — ска-зал добродушный солдатик.

Все некоторое время молчали.

— Что ж, они не люди, что ли?.. — спросил угрюмый солдат, недо-вольно покосившись от своего окна. — По ихнему не понимаешь ни черта, вот и не ругаются, — может, когда он с тобой говорит, он тебя матом по чем зря кроет.

— Нет, все-таки это верно, иностранцы слабы насчет этого.

– Может, язык неподходящий?

– Да и язык: „ла-фа, та-фа“, бормочет и не разберешь, что он ругается, ежели языка не понимаешь.

– А тут, как ахнешь, – сказал солдат с чайником, – мертвый очнется!

– Как же можно, – слова явственные.

– Ох, за эту войну понаострились, – сказал добродушный солдатик, покачав головой, – говорят, лучше нас нигде не ругаются, всех превзошли.

– Да уж насчет этого можем.

– Немцев мы учили по-нашему, так те прямо диву дались. Мы, говорят, далеко до вас не дошли.

– Когда ж им было, все пушки свои лили.

– И что, братец ты мой, сколько местностей я объехал на своем веку, везде своего брата узнаешь. Иной раз, бывало, встретишь какого-нибудь, думаешь – иностранец: манжеты эти и все прочее, как полагаются. А разговорился по душам или на башмак ему сапогом наступил, – глядишь, земляком оказался.

– Что уж, настоящее, природное никакими манжетами не выживешь.

– Как же можно. Рабочий у нас тут один из Америки приехал (тоже манжеты эти, ну, одним словом, все до точности), а как, говорит, на границе первое матерное слово услышал, так сердце запрыгало, перекрестился даже.

– Родина-то, брат... что там ни говори.

– Вот ты говоришь, что слова везде одни, – обратился добродушный солдатик к солдату с чайником, – слова-то одни, а разговор везде по-разному идет. Саратовские, скажем, те все со злостью дуют, чтоб он тебя когда-нибудь от доброго сердца пулнул – ни за что. Все, как собаки, – срыву. А орловские, к примеру, ни одного матерного слова не пустят без того, чтобы милачком тебя не обозвать али еще как.

– Душевный народ?

– Страсть... Вечерком сойдутся на заваленке, только и слышишь, матюгом друг дружку кроют. Ежели ты их не знаешь, подумаешь, что ругань идет, а они это для своего удовольствия. Когда по-приятельски потолковать сойдутся, других слов у них нету. И все так ласково, душевно.

– На Волге здоровы ругаться, – сказал солдат с чайником, – эх, здоровы.

– Там иначе нельзя: работа тяжелая, – сказал добродушный солдатик, – я тоже везде побывал, сразу могу отличить, из какой местности человек.

— Нехорошо, — сказала старушка с лавки.

— Что ж изделаешь-то, кабы можно было обойтись, никто б и не говорил.

— Это верно, — кабы нужды не было, и разговору бы не было.

Поезд остановился, в открывшуюся в конце коридора дверь ворвались какие-то крики, шум, возня...

— Что на дороге-то поставили, холуи косорылые, принимай, в лепешку расшибу.

— И так пролезешь, не барин, — послышался сердитый бабий голос.

— Я те пролезу, мать!..

— С Волги, знать, — сказал, прислушавшись, солдат с чайником.

Добродушный солдатик, вытянув шею, прислушался, как прислушиваются к родному языку, услышанному на чужой стороне.

— Тверяки, — сказал он с довольной улыбкой и, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть через головы, крикнул что было силы:

— Го-го-го, земляки, дуй... вашу так...

— Ну, прямо терпенья нет, — сказала женщина в поддевке, нервно поводя плечами.

— Нежны очень стали, — сказал недоброжелательно угрюмый солдат, — иностранка, что ли, какая, что родной язык тебе противен. Жандармов-то теперь нет, придется потерпеть.

— Милая, ты не обижайся, Христа ради, — сказал добродушный солдат. — Нешто я со зла. Я ведь от души. Я в Твери два года работал, земляки они, как услышу, так сердце и запрыгает.

— Понимает она тебе это, — сказал угрюмый солдат.

— Уж седина показывается, отвыкать бы пора.

— Эх, тетенька, да неужто уж... Господи, — сказал добродушный солдатик, приложив обе руки к груди. — Я, можно сказать, человек тихий, смиренный, цыпленочка, и того на своем веку, скажем, не обидел, а когда меня на войне ранили, дал я зарок, чтобы никаких слов. Думаю, лучше буду святителей поминать, коли что, вот, как бабушка говорила...

К нему все обернулись.

— Ну, и что же, — сказал нетерпеливо солдат с чайником.

— Ну, наши на другой день заметили — что это ты, говорят, вроде как полоумный стал? А я скажу слово да споткнусь. Думали уж, что язык отниматься стал. Почесть ничего сказать не могу, нету слов, да на, поди.

— Обойтись своим умом задумал, по-иностранному, — сказал угрюмый солдат.

— Цельный месяц, братец ты мой, держался.

— Трудно было?

- Не дай Бог, прямо, как без рук.
- Никто человека не мучает, так он сам себе муку выдумал.
- Бывало, в праздник люди сойдутся, у них разговор идет, а я, как немой, сижу. И взяла меня тоска...
- Чем кончилось-то? – спросил нетерпеливо солдат с чайником.
- Чем?.. Да один раз жена мне похлебкой руку обварила, я как двину ее... с тех пор и пошло.
- Разум прочистило, – сказал угрюмый солдат.
- И прямо, братец ты мой, как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый, мать!..
- О, Боже мой, – сказала женщина в поддевке, – хоть бы в другой вагон перейти.
- Поезд опять остановился у станции. И сейчас же послышалось:
- Эй, милый, проходи.
- Лезь, голубь, лезь, мать!..
- Ну, ну, старина, домовой облезлый, карабкайся, мать...
- Добродушный солдатик повернул голову к двери, с заигравшей улыбкой слушал некоторое время, потом, ни слова не говоря, ринулся вперед по головам и закричал, что было силы, над самым ухом женщины.
- Го-го-го... Орловские, что ли? Мать... мать...
- Они самые, соколики, – донеслось оттуда.
- По разговору узнал, четыре года там работал.

## Закон

1920 год

Отряд, ехавший в деревню за хлебом, разместился в двух товарных вагонах.

Трое красноармейцев высмотрели себе местечко на пустой товарной платформе и поместились со своими ружьями и сумками в кондукторской будочке.

— И ветру нет, и кругом хорошо видно, — сказал один в бараньей шапке с лентой пулеметных патронов, перекрещенной на груди, как у дьякона орарь, когда он выходит к царским вратам перед причастием.

— Хорошо бы тут чайку попить, — сказал другой, высокий рябой малый, усевшись под защиту будки на свою холщевую сумку и держа, стоя в коленях, снятое ружье.

— Мужики напоят, — сказал третий, с подвязанным глазом, подмигнув при этом здоровым глазом.

— То-то тебя уж третьего дня напоили, — глаз-то подвязал.

— Оттого, что командир дурак был. Скажи на милость: пошли на реквизицию днем и еще делегатов вперед послали. Так и так, мол, товарищи крестьяне, идем хлеб у вас отбирать.

— Да, ума немного, — отозвался красноармеец с патронами. Мы со своим всегда ночью ходим.

— А как же, днем только дурак какой-нибудь пойдет. Вот они сейчас, конечно, в набат, сбежались со всех деревень и давай нас бузывать. Я-то хорошо хоть глазом отделался.

— На реквизицию первое дело надо врасплох заставить, — сказал рябой, начищая рукавом ствол ружья.

— И прямо со стрельбы начинать. Вот мы тоже ходили: как с вечера залегли вокруг села, выждали, пока стемнело, мы тут и пошли барабанить со всех концов. Вот, братец ты мой, потеха-то была!

— Живо разбудили.

— Что тут было, Господи, Твоя воля. Выскочили они кто куда. И первое дело скотину сгонять.

— Вот, вот, это у них — первое дело.

— Так мы, братец ты мой, как пошли — в полчаса нареквизировали столько, что другой, может, в два дня не соберет. И что ж ты думаешь, смех смехом, а мы целый отряд на это на восточный фронт отправили.

— Иначе с ними и нельзя, — сказал хмуро рябой, — а ежели по-благородному приди и скажи: так и так, мол, революция гибнет, ежели по десяти пудов со двора не дадите, опять в кабалу пойдете — ни-почем не дадут.

— По пуду не дадут! — сказал возбужденно красноармеец с патронами.

— У нас тоже сначала ездили было не хуже попов каких-то, — сказал угрюмо, глядя в сторону, рябой, — ораторов высылали, „товарищи-крестьяне, долг вас призывает“...

— Ну да, известная чепуховина, — сказал красноармеец с патронами, ждавший поскорей услышать суть дела.

— Да... так ни шута толку. Они, окаянные, пока ты перед ними расписываешь, всех баб мобилизуют и все попрячут. Оратор еще свою музыку не кончил, а у них уже все чисто.

— В конопляниках больше прячут...

— Да, первое дело — в конопляники иди, — сказал красноармеец с подвязанным глазом.

— Потом мы уж смекнули, и после речей этих прямо в конопляники — шмыг!.. И тащишь, что Бог послал. Да и то сказать, тут нужно работать, покамест не опамятовались, а то ворон будешь считать — и вовсе с носом останешься.

Поезд подъехал к станции, и в задних вагонах стали торопливо размещаться какие-то люди в шапках и с ружьями.

— Это еще какие?

— Должно, тоже в деревню.

— Нет, их что-то мало дюже, — сказал рябой, мельком взглянув на садившихся.

Вы куда? — крикнул красноармеец с патронами, которому под впечатлением разговоров не сиделось.

— С этим поездом, реквизиция по вагонам, — сказал, не взглянув на него, черный солдат, стоявший у вагона и следивший за посадкой.

— Говорит и не смотрит, черт, — сказал хмуро рябой.

— Должно, начальник отряда.

— Господа... — отозвался опять недоброжелательно рябой, — им тут хорошо по вагончикам-то прогуливаться, а вот в деревню бы прогулялись, вот бы узнали.

— Да, там хуже, чем на войне: поймают и живьем в землю.

— Это у них один разговор. Не мало нашего брата туда зарятали.

— А по вагонам здорово, — сказал красноармеец с патронами, — я ездил, бывало, как видишь, много такого народу подобралось, поезд в поле остановишь, для порядку постреляешь вверх, потом иди — что хочешь бери.

Вдруг поезд остановился, и со стороны задней части поезда загрохотали выстрелы.

Красноармеец с патронами и другой с подвязанным глазом вскочили и бросились на край платформы смотреть.

От поезда в разных направлениях, волоча за собой мешки по траве, бежали мужики, бабы к ближнему лесу.

— Ох, здорово подкараулили, — крикнул солдат с патронами, и вдруг закричал тонким залившимся голосом, с каким борзятники скачут за зайцами:

— Ай, я-яй! Держи! Лови!

Даже хмурый рябой повеселел, как старый, потерявший во все веру музыкант веселеет и улыбается сквозь свою хмурость, когда услышит знакомый мотив, напоминавший ему веселое время.

— Только черти косопузые, что же они сообразили — около лесу-то пригадали остановиться, — сказал он.

А красноармеец с патронами кричал и топал от нетерпения ногами.

Когда поезд тронулся и все затихло, он нагнулся с платформы и крикнул по направлению к задним вагонам:

— Много набрали?

— Хватит... — донесся оттуда недовольный голос.

— Да, вот это служба, — сказал красноармеец с патронами, — мне только месяц пришлось так поработать, а потом прямо в деревню назначили, черт бы ее подрал.

— Оно тоже и в деревне иной раз не плохо выходит. Подгадывай, когда ярмарка или базар, — так и в деревне хорошо будет.

— Это верно, лучше нет. Расставят по всей площади эти горшки да колеса, лошадей отпрягут, оглобли вверх — и пойдут глазеть по базару.

— Вот тут и вали...

– На что лучше!

– Тут война идет, все с голодудохнут, а они лопают себе господскую свинину да горшками на базаре торгуют, а за разверсткой поедешь – все бедные, ни у кого ничего нету.

– На базаре уж без ошибки будет, – сказал красноармеец с патронами, – мы один раз так-то (он усмехнулся и покачал головой) как налетели на этот базар, как начали в воздух палить, а наш командир – чужак был! – кричите, говорит, что немцы. Какие тут немцы... Ладно, мы палим, а сами во всю глотку: Немцы, немцы, спасайтесь!.. Что тут было... Как лошади пошли скакать промеж телег, да по горшкам, бабы-торговки эти – кто куда. А мы гикнем, гикнем, да залп в воздух. Сколько тут нам досталось всего – не перечесть.

– И скажи, братец ты мой, вот теперь как образовали немножко, так иной раз сами привозят. Стали закон понимать.

– Закон без битья ни за что не поймешь, – сказал рябой, – это уж такая штука.

Все замолчали.

А рябой посмотрел на солнце и сказал:

– К ночи приедем. Как раз. Жалко, что месяц будет.

## Гайка

На вокзальной платформе, заваленной узлами, мешками и прочей пассажирской рухлядью, сидел и лежал народ, дожидавшийся поезда.

— Когда поезд придет? — спросил, войдя на платформу, рабочий с сундуком и чайником через плечо.

— А черт его знает, — неопределенно отвечал мальчуган в картузе, к которому он обратился.

— Вот дьявола-то... — сказал раздраженно рабочий, оглядываясь по сторонам.

— Мы, батюшка, третий денечек тут сидим, — проговорила старушка в туфлях и шерстяных чулках, — балакали вчера, что должен быть поезд непременно; знающий человек говорил, да вот, знать, не угадал.

— Придет, Бог даст... — сказал сидящий рядом с ней на мешках лохматый мужичок в накинутах на плечи без рукавов шубенке.

Рабочий, не слушая, смотрел по сторонам.

— А это какой поезд?

— Это в другую сторону, батюшка, — третий звонок давно пробил, да гайку, говорят, какую-то на паровозе потеряли.

— Чего стоим? — кричали из окон стоявшего поезда пассажиры.

— Гайку не найдут никак...

— Растерялись, на весь поезд одна гайка... голь несчастная.

— Ехать — не едет, а вылезать по своему делу боишься — уйдет, — говорила растрепанная женщина в расстегнутой кофте с нечесаными волосами, выглядывая на обе стороны из вагона. — Звонки-то еще будут? — спросила она у проходившего толстого кондуктора.

— Сколько ж тебе звонков еще надо: пробило три, ну и сиди, жди.

— Им и трех мало... — сказал какой-то веселый мужичок в лапотках с ножичком на поясе, свертывавший папироску.

— Голубчики, идет!.. — закричал, как зарезанный, малый в картузе и бросился в вокзал за вещами.

Вся платформа зашевелилась.

— У меня как сердце чуяло, что придет, — сказала старушка в туфлях, торопливо собирая свой мешок. — Как-то теперь, Господь даст, сядем?

— На каком пути остановится? — кричали разные голоса.

— На втором пути, за этим поездом, — спокойно сказал толстый кондуктор, махнув рукой в сторону второго пути.

Все озадаченно остановились перед загородившим дорогу поездом.

— Вот этот тут черт застрял еще на дороге... Скоро ли тронетесь-то, окаянные! Стоят поперек дороги, и неизвестно что, не то в обход иттить, не то ждать.

— Сейчас уедут, им только гайку найти, — сказал, подмигнув, веселый мужичок.

Вдали засвистел паровоз. Пассажиры вдруг, точно спасаясь от кого-то, бросились с своими мешками и сундуками рассыпной толпой в обход и под колеса стоявшего на пути поезда, потерявшего гайку.

— Куда вы, оглашенные, под поезд лезете? — кричали на них из окон: — трогаемся сейчас, подавим всех.

— А вы что тут распространились на самой дороге? Зимовать, что ли, собрались?

Лохматый мужичок как-то необычайно проворно пролез по головам ломившихся на площадки людей и висел на краю крыши, спустив вниз ноги в лапотках.

— Что на голову становишься! — сказал, поглядев на него с усилием вверх, рабочий, который ухватился рукой за железную скобку через плечи других и висел на ней.

— Пройти где было, батюшка, — сказал мужичок и, увидев барахтающуюся внизу в общей свалке старушку, закричал:

— Эй, тетка, тетка, на тебе, хватайся за подпояску! Держись, тащить буду! Ну, вот!..

— Эй, кто там опять?! Тьфу!

— Что за дьяволы, сказано, не лазить по головам! — закричал вне себя рабочий, когда старуха покрыла его голову своей юбкой.

Малый в картузе тоже вскочил на крышу и, стоя у края, кричал:

— Выше господ залезли!

Старушка, отдышавшись, устроилась около трубы.

— Ну, вот и, слава тебе Господи, сели. Только с непривычки дюже высоко.

— Обтерпешься...

Пришедший поезд дал свисток и дернул один раз, потом другой, потом медленно попятился назад. Все затаили дыхание.

— Только бы с места взял.

— Самое главное... а там разойдется, Бог даст, — говорили на крышах.

Наконец паровоз часто запокал и медленно тронулся, шипя на обе стороны паром, выпускаемым из паровоза низко по земле, и увозя вагоны, платформы, груженные лесом и облепленные народом.

Малый в картузе стоял посредине крыши и кричал на поезд:

— Пошел, пошел, разгоняй, разорви его ятребу!

— „Сейчас едем”... — передразнил рабочий, уезжая на подножке, толстого кондуктора, который не пустил его под поезд, заставил идти в обход, — насажали вас тут, чертей...

— А ездить как будто похуже стало, — сказал лохматый мужичок, — взбираться дюже трудно.

— Зато спокоен...

— Про это никто не говорит.

Висевший внизу на площадках народ недоброжелательно поглядывал на крыши.

— И прежде были господа и теперь господа, — сказал какой-то мужичок, посмотрев снизу на сидевшего на крыше солдата с револьвером.

— Расселись там на хороших местах-то, — сказала злобно какая-то баба с молочным жбаном, прилипшая внизу к дверной скобке.

Вдруг поезд, тяжело поднимавшийся на подъём, неожиданно рванул вперед и остановился.

— Ой, мать честная, — раздалось с крыши, — вот было чебурахнул-то.

— Держись, время такое...

— Что стал? Ай потеряли что?

— Должно, силы нету.

— Вот и опять станция, — сказал веселый мужичок. — Тут бы по всей линии трактиров настроить, в самый раз было бы.

— Что ж вы, дьяволы, сидите! — закричал шедший от паровоза кондуктор: — видите, машина не берет, не можете слезть?..

— И так вывезет... — крикнул, стоя на крыше, малый в картузе.

— „И так вывезет”... что ты на лошадь, что ли, засел, болван непонимающий? Слезай к чертовой матери!

— Вот как навзвлок, там мука с ним одна.

Все сошли на насыпь. Поезд постоял с минуту на месте, подергался судорожно и пошел назад...

— Матушки! Куда ж это он?

— За картошкой поехал... гайку не потеряй!.. — крикнул вслед машинисту веселый мужичок.

— Вот как спешить некуда, еще ничего, — можно и подождать.

— Да, подождать! Хорошо вам на крыше-то, — злобно сказала баба со жбаном: — а тут все молоко разлили, да еще проквасишь его, покуда довезешь.

— А ты пешком иди: баба молодая, чего машину зря мучаешь, — сказал веселый мужичок.

— Только вот оскалиться и умеете...

— Пошел!.. — крикнул кто-то.

Несколько человек бросились наперерез к поезду и с озверелым видом, работая локтями, стали пробиваться на крышу.

— Ах, дьяволы, опять самые хорошие места займут.

— Садитесь, не зевай! черт вас поберет, окаянные. Разинули рты! — крикнул кондуктор.

— А мы думали — остановится.

— Останавливайся для вас, а потом опять сначала разгоняй. Вот бестолочь-то окаянная, ну, никак к порядку не приучишь. Весь свет обойди, другого такого народу не найдешь.

Старушку затерли, и она, потеряв туфлю, успела только повиснуть на подножке. Лохматый мужичок, опять раньше других вскарабкавшийся на крышу, увидев старушку внизу, крикнул ей:

— Висишь, тетка?

— Вишу, батюшка, слава Богу.

И она о плечо поправила съехавший на глаза платок, так как обе руки ее были заняты держанием за скобку...

Поезд пошел, прибавляя ходу. А сзади бежали, спотыкаясь, с мешками и испуганно махали руками те, кто не успел на ходу прицепиться.

— Догоняй, догоняй, тетка! — кричал малый в картузе, держась за трубу, как за мачту. — Ах, ты, мать честная, вот так подвезли теньку!

Какой-то человек в бабьей кофте посмотрел на оставшихся и сказал:

— Ну, беда теперь с плохими ногами. Тут с хорошими голову потеряешь.

— Вот как народу поскидает побольше, все, может, лучше пойдет.

— И то как будто расходиться стал.

— Разойдется...

Все замолчали и, оглядывая свои мешки, стали прочнее усаживаться.

— ..Не тяни за плечо... — раздался голос снизу, где висели, как виноград, люди на подножках.

— Потерпишь, что же мне, оторваться, что ли... — сказал другой голос.

— О, Господи-батюшка, того и гляди, руки оборвутся. А тут этот домовый разогнался. Куда его леший так понес? Холера проклятая!

Поезд, шедший под уклон, все прибавлял ходу и, наконец, так разошелся, что поднял за собой целый ураган крутившихся в воздухе бумажек и пыли.

Вагоны дребезжали и ныряли из стороны в сторону.

Разговоры на крышах прекратились. Пассажиры притихли и, как гонщики, плотнее надвинув шапки и сощуриив глаза, смотрели вперед.

— Куда его нечистые разнесли!

— Эй, куда ты так рассказкался! Головы, что ли, сломить всем хочешь! — кричали с крыш машинисту.

— „Расскакался“, — передразнил с тормоза угрюмо кондуктор, стоявший, как в метель, с поднятым от пыли воротником шинели.

— Что ж он изделает, когда тормоза не действуют. Не понимает ни черта, а тоже глотку дерет!

— А тут какого-то черта догадало крышу полукруглую сделать.

— Что ж они не могли тут какие-нибудь держалочки устроить?

— Нешто они об публике думают!..

Впереди показался полустанок. Кондуктор схватился было за тормоз, покрутил несколько времени, потом плюнул и махнул рукой. Поезд пролетел мимо платформы. Стоявшие плотной стеной на платформе люди сначала удивленно смотрели, потом стали испуганно махать руками и кричать:

— Стой, стой! куда же вы? Нас-то захватите!

— Никак не можем, гайка на отделку развинтилась! — крикнул веселый мужичок. А малый в картузе, подняв вверх руку, точно у него был кнут и он скакал на лошади, кричал во все горло:

— Шпарь, шпарь его! Вот так распатронили!

Поезд, далеко прокативший за полустанок, наконец, остановился.

— Ну нет, это уж Бог с ним, с этим удобством, — сказал какой-то человек в бабьей кофте, лежавший на животе около трубы, обхватив ее обеими руками: — лучше уж внизу тесноту потерпеть да живым остаться. А то сейчас чуть-чуть не стряхнуло.

— Да, на крыше хуже, — сказал лохматый мужичок, протирая обеими руками глаза и сплевывая от набившейся в рот пыли. — Пыль очень, и сердце с непривычки заходится.

— У вас там, у чертей, наверху заходится, а вы попробовали бы тут, пошли, повисели, — раздался снизу озлобленный голос бабы с молочным жбаном. — А то расселись там, как господа.

— Ну вы, что же там ждете? К подъезду, что ли, вам прикажете подавать? — крикнул кондуктор на пассажиров, озадаченно стоявших на платформе полустанка. Те, схватив свои мешки, испуганно бросились к поезду.

— Вот окаянный народ-то: каждому объясняй, да еще по шее толкай, а чтоб самим к порядку привыкать, этого — умрешь, не добьешься.

## Лабиринт

На площади маленького уездного городишки, около пожарной каланчи стояли два каких-то человека и с отчаянием оглядывались по сторонам на соседние дома и вывески.

— Черт ее знает, куда теперь?.. — сказал один из них, высокий в барашковой шапке и в валенках.

— Этак до вечера проплутаешь, — отвечал его спутник, маленький человек в меховой рыжей шапке с наушниками, завязанными под подбородком тесемочками.

Проходившие мимо оглядывались на них, как в столице оглядываются на провинциалов, заблудившихся среди бесчисленных улиц, домов и переулков.

— Вам что надо-то? — спросила, остановившись, старушка в большом платке, спешившая куда-то с керосинной жестяной.

— Да вот прислали нас в продовольственный отдел, никак не найдем. Наговорили нам много отделов, рядом с какими он, а мы и спутались. На какой улице-то он?

— Улицы у нас тут, батюшка, никак не называются, а вы идите и по вывескам по отделам разбирайтесь.

— А в какую сторону идти?

— Идите сначала мимо финотдела...

— Мимо чего?.. — спросил высокий, повернув ухо.

— Финотдел... финансовый, батюшка.

— Так... ну?

— Ну, финотдел этот пройдете, — сказала старушка, став лицом вдоль улицы и показывая рукой, — медицинский подотдел пройдете,

охрану материнства с младенчеством пройдете и мимо санитарного с уголовной комиссией, не доходя до собеса свернете к народному хозяйству, напротив его еще большая вывеска земельного отдела висит; как ее увидите, так еще домов пяток пройдете и прямо упретесь в культпросвет; рядом с ним будет секция какая-то, Господь ее знает, забыла, а рядом с этой секцией и есть упродком.

— Постой, а около собеса-то куда сворачивать?

— Как около собеса?! — спросила в свою очередь старушка. — Там собесу никакого нету.

— Как же нету, когда ты сама сказала.

— Про собес я не говорила. Я говорила про медицинский, про охрану материнства, потом про санитарный.

— Еще чтой-то про младенчество как будто было... — заметил нерешительно маленький человек в шапке с наушниками.

— Младенчество, батюшка, в охране же и помещается.

— Черт ее разберет тут... — сказал высокий: — вишь, расплодили, сами уж пугаетесь. Откуда ж я мог взять этот собес, когда я и слова-то такого отродясь не слыхал? Что это такое будет-то?

— Собес-то? Да там насчет старух... над старухами чтой-то орудут.

— Ну, вот, значит, был собес.

— Был, был, — сказал маленький, — я еще подумал, что это против религии что-нибудь.

Старушка оглянулась на маленького, сбита с толку, потом обиделась и ушла.

— Что вы дорогу-то загородили, — сказал, проходя по тротуару, старичок в чуйке, — станьте вон к сторонке, а то сватаетесь по самой середке, другим проходу из-за вас нет. Об чем у вас разговор-то?

— Да вот два часа бьемся, продовольственного отдела найти никак не можем; начала нам пересчитывать, мимо каких отделов идти, да сама сбилась.

— Эх, народ, — сказал старичок, мельком взглянув на старушку, — до своей печки скоро дорогу потеряете. Это в пяти шагах отсюда. Только она зря вас запутала, через переулки послала. А вы лучше идите вот куда: тут хоть попутаннее немножко, зато рукой подать. Идите вы мимо торгового отдела, нотариальный отдел пройдете, городское хозяйство пройдете...

— Постой, у старухи тоже какое-то хозяйство было...

— Это народное. То городское, а то народное, — друг дружки не касаются... Ну вот, потом, значит, будет налоговый подотдел...

— Ну-ка, записывай лучше, — сказал высокий своему спутнику, — а где ж эту ораву упомянуть.

— Это тебе, милый, с непривычки, а мы их все наперечет.

– Значит, нотариальный, городское, налоговый, финансовый...

– Финансовый не надо, зачеркни его, это если по другой дороге идти.

– Ну, прямо в голове помутится! – сказал высокий раздраженно.

– Привыкнешь, батюшка. Сначала мы сами так-то, а потом обошлись, и горя мало.

– Не очень-то обошлись... – заметил угрюмо высокий.

– Ну, пиши дальше: значит, после налогового будет народное, после народного – куль-просвет, потом технический, после технического – заготовительный, после заготовительного райсоюз. Тут повернетесь в переулок и упретесь сначала в собес...

– Вот опять этот черт... – сказал маленький человек, перестав писать.

– Да как же так? Ведь вот старуха нас по одной дороге направляла, там этот черт был, а ты теперь совсем по другой направляешь, а он уж и сюда припутался?

– Ну что ж, там кольцом и сойдется.

– Что кольцом сойдется?

– Да мы про что говорили-то? Что последнее было?

– То-то вот... у вас у всех, должно быть, тут кольцом сошлось, – сказал высокий, показав себе на лоб.

Старичок несколько времени посмотрел на него, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только пожевал губами, потом плюнул и ушел.

– Вот чертова каша-то! – проворчал маленький, развязав тесемки на шапке и с недоумением глядя то в тетрадку, то на вывески. – Паршивый городишка, три улицы да пять переулков, а отделов этих развели столько, что голова кругом идет.

– Надо сначала. Как старуха-то говорила, мимо каких проходить?

– А черт их знает, я не записывал... Пстой, сейчас попробую на память записать.

– А старик сколько тебе насчитал?

– Да вот 12 отделов записано, а дальше опять неизвестно куда.

– По вывескам смотреть надо, – сказал высокий, – ноги гудут.

– Вы, говорят, до обеда сбегать успеете... Черти вам в живот ввалились, окаянные! Ну, что ж ты стал, до ночи, что ли, ходить так будем? Сколько у тебя отделов записано?

– Тридцать пять набрал... Это, ежели охрану пополам разбить?

– Да за коим чертом ты две дороги-то в одну сбил? Чертова голова! Вот с остопом свяжешься!.. Читай последнее все подряд. Мимо каких?

– Финотдел, медицинский подотдел, народное хозяйство, культпросвет, охрана материнства, дальше идет младенчество, заготовительный, милиция, санитарный, технический... райсоюз, печати... какие-то печати, – повторил маленький, подняв голову от тетрадки.

– Ну, ну, дальше...

– Информационный, лесной, секция какая-то...

– Про секцию ни старуха, ни старик ничего не говорили.

– Это я, должно, раньше спрашивал, – сказал маленький, зажав пальцем в книжке и подняв глаза на своего спутника.

Тот махнул рукой и сел на тумбу.

– Делай, что хочешь, нету никакой возможности.

– Сейчас вот до конца прочту, а там разберемся... Где тут?.. Да, вот оно: секция, агитационно-вербовочный, жилищный, а тут опять собес... вот стерва-то!

– Ну тебя к черту! – сказал высокий и зашагал прочь от своего спутника.

– Ай, не нашли еще? – спросила старушка, возвращаясь с керо-сином.

Маленький человек в наушниках посмотрел на нее мутными глазами, ничего не сказал и тоже пошел.

– Что это они? – спросил проходивший мимо с кистью маляр.

– Господь разум помутил, – сказала старушка, – в трех соснах заблудились.

## Слабое сердце

В одном из столичных учреждений по лестницам ходили ломовики в тяжелых сапогах, сносили вниз столы, шкафы, пыльные связки бумаг и клали их на воза, чтобы везти в другое помещение.

Между ломовиками совалась старушка в большом платке и из-под рук заглядывала вверх по лестнице, где сновали взад и вперед люди, и шептала про себя:

- Господи, батюшка... как в лесу.
- Пусти, старуха, ногу отдавлю. Что тебе надо тут?
- Пособие, батюшка, пришла получить.
- Вниз иди, в 20-й номер.

Старушка пошла вниз. И через некоторое время внизу послышалось:

- Что мотаешься под ногами? Вот шкапом-то ахнем тебе на голову – и дух твой вон.
- Пособие, батюшка...
- Вверх иди, – сказал проходивший с разносной книгой человек в валенках.
- Я уж была там, кормилец.
- На каком этаже? – строго спросил проходивший.
- На четвертом, батюшка.
- Выше иди.

Старушка пошла наверх.

- Это какой этаж, кормилец?
- Третий... Ты опять уж сюда явилась?

- Я только что на низ сходила, милый.
- Ну, сходила, и слава Богу.
- А теперь вот опять сюда прислали.
- Очень нужна ты тут.

Старушка вошла на четвертый этаж и остановилась отдышаться. На продавленном диванчике, под которым была видна выскочившая пружина и рогожка, сидел какой-то болезненный человек.

- Дожидаешься, батюшка?
- Отдыхаю, – сказал человек.
- Я вот с утра уж пришла. Избегалась на отделку.
- Что надо-то?
- Пособие получить, да никак не найду где.
- Сейчас устроим... Послушайте, – сказал мужчина, обращаясь к пробежавшему человеку с портфелем, – где бы тут старушке пособие получить?

– Черт его знает. Где-нибудь тут надо искать, – сказал тот, остановившись и с недоумением оглянувшись по сторонам. Потом опять побежал.

- А в 20 номере не были? – спросил он, остановившись.
- Ходила уж туда, цифры все шли, шли подряд, а потом, на 18 номере, оборвались, и уперлась я в какой-то закоулок, не знала, как выйтить. На старом-то месте я уж приладилась получать, а теперь на новое переехали, никак не потрафишь.

– Я тоже, – сказал человек, сидевший на диване. – Только на другой конец города зря прошел.

– Что за черт!.. Какие это ослы мой стол слизнули? – закричал, выскочив в коридор, мужчина в шубе и без шапки. – Извольте радоваться, положил туда шапку, теперь шапка уехала. Хоть платочком повязывайся.

- Что ж это тут всегда такие хлопоты?
- Всегда. Переезжают.
- А часто, значит, переезжают-то?
- Часто. То одно учреждение от другого откальвается, а то два в одно сливаются. Да и изнашиваются очень. Вот хоть наше учреждение взять: дали помещение хорошее, а через месяц обои изорвались, вместо стекол фанера везде, да еще каким-то манером водопроводные трубы лопнули, затопило всех, по комнатам уж на досках плавали. А то иной раз помещение какое-нибудь понравится, так и идет.

- Ну, теперь отдохнула, пойду дальше, – сказала старушка.
- А вы обратитесь в справочное бюро, – сказал пробежавший обратно человек с портфелем. – Вам все и укажут, а то ходите как слепые.

– А где оно, родимый?

— Черт его знает: кажется, 15 комната вниз.

Старушка поблагодарила и пошла вниз.

— Вниз-то хоть иттить легче, — сказала она с ласковой улыбкой, обращаясь к двум ломовикам в фартуках, тащившим конторку.

— Вот бы и ходила все вниз, а то зачем-то вверх лезешь?

— Да что ты все трешься тут? Проходу от тебя нет, — крикнул другой.

— Справочное бюро, милый, ищу.

— Да ведь ты другое что-то искала...

— А теперь это велели искать, родимый.

— Что ж ты подряд, что ли, взяла? Ну, проходи, проходи.

— Скажите, пожалуйста, — послышался внизу голос старушки, — где тут справочное бюро?

— 20-я комната, кажется, была, посмотрите там.

Старушка подошла к 20 номеру и прочла: информационное бюро.

Постояла, потом отошла, сказавши:

— Знать, уж чтой-то новое въехало.

Она опять полезла наверх, потом уселась на окне.

— Вот как сердце слабое, хуже всего, — сказала она, увидев своего собеседника, спускавшегося вниз.

— Не дай Бог. Сердце пуще всего. А мне, оказывается, опять через весь город иттить. Их куда-то к заставе бросило.

— Переехали?

— Только вчера. Две недельки побыли тут — и дальше. Ну, да тут хоть гор нет, доберусь. Пойду, а то еще, глядишь, там не застанешь, за две недели много воды утекло.

Два мужика спускали вниз тяжелую конторку и застряли на повороте лестницы.

— Вишь, черт их, потрохов сколько набрали, да еще повернуться негде.

— Ну-ка, заноси свой бок, сейчас ходко пойдет. Так пошло.

Что-то хрястнуло.

— Чтой-то там?

Передний, озабоченно оглянувшись, поставил свой конец на пол.

— Какую-то штучку тут отсадили.

Мужики ушли. За ними прошли какие-то барышни, тащившие под мышками охапки бумаг в синих папках.

— Куда Господь несет? — крикнул им поднимавшийся навстречу по лестнице человек.

— Сливаемся!..

Лестница опустела. Прошел вниз мужчина в пальто без шапки, повязанный платочком, как повязываются на похоронах, чтобы не простудить голову, и, наткнувшись на старуху, спросил:

- Вам что надо тут?
- Справочное бюро, родимый.
- А в нем что?
- А кто его знает, батюшка.
- Как кто его знает! Что вам нужно-то?
- Пособие, батюшка.
- Так это финансовый отдел надо... Хватилась, – он уже теперь, небось, к Театральной площади подъезжает.
- Старушка озадаченно посмотрела вниз по лестнице.
- Так это, значит, его, батюшку, у меня на глазах носили. Куда ж теперь-то мне бежать?
- Сретенский бульвар, 6, – сказал человек и, поправив на голове платочек, пошел вниз.
- Старушка посмотрела ему вслед. Потом села на ступеньку лестницы и сказала про себя:
- Отдохну немножко, потом пойду, покамест сердце не ослабело.

## Гостеприимный народ

Поезд с солдатами, ехавшими из Туркестана, остановился на маленьком полустанке и в продолжение суток не двигался с места.

— Вот мерзнешь, как собака, — сказал худощавый солдат в рваной шинели, съезжившись и спрятав руки в рукава. — Одежи нет, дров тоже нет, — прибавил он, оглядываясь по сторонам.

— Дядя, дровец так-то не будет?

— Нету, — отвечал проходивший мимо железнодорожный сторож с бляхой. Он остановился и посмотрел на солдат. — Шпалы, какие были, все солдаты пожгли, доски — тоже.

Сторож оказался хороший, словоохотливый человек, с ним закурили трубочки и разговорились.

— На нашу долю только одни заборы, знать, остались, — сказал другой солдат в куртке с короткими рукавами, сшитой не по его росту.

— Вроде этого...

— Это чей забор-то там?

— Жителя одного здешнего.

— Ничего не поделаешь, придется его ломать, больше ничего не осталось.

— Народу уж очень много едет, — сказал сторож, — тут всего было, а теперь — чисто... Ну, вы полегоньку ломайте, а я отойду, а то неловко. Затем и приставлен, чтобы смотреть. Самого-то нет, в город уехал. Раньше ночи не придет.

Солдаты пошли. Через минуту послышался хруст раскачиваемого на подгнивших столбах забора. А еще минут через пять все сидели по

другую сторону вагонов, на полотне дороги, прилитой, как всегда возле вокзалов, черной нефтью, и грелись у костра.

– Обладили? – спросил сторож, подходя.

– Обладили. Крашенный-то хорошо горит.

– Крашенный, – на что лучше, – согласился сторож.

– Щиты вот тоже хорошо горят.

– Щитов больше нет, да и ничего больше нету...

– Ох, головушка горькая, – сказал кто-то, вздохнув.

Все замолчали.

– Вот проснется завтра хозяин, хватъ – забора нету.

– Видней будет, окна от свету загораживает, – сказал солдат с короткими рукавами.

– Что, если б захватил на месте, вот крыть-то начал бы, да еще сволок бы, куда следует.

– Нет, – сказал сторож, – теперь привыкли, обошлись и ничего.

– Хорошие стали?

– Ничего, обошлись. Особливо, если не нахальничают. Вот ведь я, скажем, к тому приставлен, чтобы за добром за казенным смотреть, а вы обошлись по-хорошему, – я ни слова.

– А вот мы из Туркестана едем, так там другим концом повернулось. Спервоначалу вот какие были хорошие, ну, просто... Словом сказать, у них там есть такой закон, что, ежели гость к тебе пришел, – хоть тот же солдат, скажем, – обязан его напоить, накормить, – и все бесплатно.

– Бесплатно? – сказал сторож и отодвинулся на корточках от дыма, чтобы слушать, не отвлекаясь.

– Бесплатно.

– Гостеприимный, значит, народ?

– Страсть!

– Это еще что... Там есть такой закон, что, ежели гость похвалит, скажем, шубу хозяйскую, – халат, по-ихнему, – пондравится ему, то хозяин должен отдать ее.

– Гостю-то?!

– Да.

Остальные солдаты сидели вокруг костра и молчали, копая изредка в огне палочкой, как люди, знающие уже все это. А кругом чернела осенняя ночь, и тускло светились огоньки затерявшегося в степи полустанка.

– Да, вот это так народ. И много от них так-то попользовались?

– Много... – неохотно отвечал худощавый. – Это еще начальство мешало, сколько назад отобрали.

– Зачем же отбирать-то, коли закон такой?

– Вот спроси...

— Бывало, наешься, напешься и начнешь хвалить: и халат хорош, и то, и другое.

— И не совестились?

— Спервоначально, конечно, понемножку брали, все как будто неловко.

— С непривычки.

— Да, не обошлись еще. А потом, когда видим, что все смекнули, тут уж некогда разбирать: нахваливаешь, что под руку попало.

— А они что же? — спросил жадно сторож.

— А что же они изделают, когда у них закон такой? Известное дело, чуть не волком воют.

— А слушаются все-таки закона-то?

— Слушаются. Народ хороший, помнящий. И вот, братец ты мой, как их обчистили, что надо лучше, да некуда. И сначала, бывало, как нас увидит, так к себе зазовет и уж угощает тебя доотвалу, а потом сидит и ждет, что похвалишь.

— Ждет?! Вот это народ.

— А потом, как стали охепками от них волочь, так уж прятаться начали.

— Против закона, значит, уж пошли?

— Чудак-человек, вдрызг обобрали.

— Спрячешься, когда своими руками свое же добро отдавать, — сказал солдат с короткими рукавами.

— На человека по одному одеялу не оставили, — продолжал художавый. — И все по закону, а не то, чтобы нахальничать как.

— Раз люди хорошие, гостеприимные, надо с ними поблагодарней стараться, — заметил сторож.

— То-то и дело-то. Ну, да оно и по-благородному неплохо вышло. Только потом уж — крышка: иной раз хвалишь, хвалишь какую-нибудь уж овцу паршивую, а он ровно оглох. Тогда уж воровать стали.

— Живо в православную веру перекрестили.

— А то как же. Ну, да и они тоже скоро смекнули, как с нашим братом обходиться: потом палку какую-нибудь возьмешь, так он норovit тебя к комиссару стащить.

— Скажи, пожалуйста, до чего переменялся народ! Сразу к порядку приучились.

Вдруг около домика, откуда приволокли забор, послышался в темноте скрип телеги. Потом замолк, точно человек ехал и, сбившись, остановился, отыскивая дорогу. Потом послышалось восклицание:

— Господи Иисусе! Куда ж это меня занесло? Дома на печке заблудился. Эй, народ! Какая это станция? — крикнул он солдатам.

— Скажи, что Арсеньев, — шепнул сторож солдату, — а мне надо отойти. Это сам хозяин. Знакомый мне...

— Арсеньев! — крикнул солдат с короткими рукавами.

— Что за черт!.. — донеслось от дома. И через минуту вдали, в свете костра, показался человек в поддевке и с кнутом.

— Разум, что ли, отшибло, — спутался в потьмах, своего дома не найду.

— А сюда не залил грешным делом? — спросил худощавый солдат, щелкнув себя пальцем по шее, и, сморщившись от дыма, посмотрел на подошедшего.

Тот ничего не ответил на это и только водил глазами по сторонам.

— Все как есть, на месте, — сказал он, но вдруг, увидев под ногами свой забор, почесал висок и, ничего не сказав, пошел обратно. Только когда отошел шагов на десять, слышно было, как он со злобой плюнул.

— Ушел, что ли? — спросил, выходя из-за вагона, сторож.

— Ушел... Нашел дом-то. А то он его по забору искал, да сбился, — сказал солдат с короткими рукавами.

— И ничего не сказал? — спросил сторож.

— Ничего. Только плюнул. И то уж отошедши.

— Скажи на милость, до чего переменялся народ. Ведь ежели бы прежде на него наскочил, он бы тебя в волостное сволок, все бы потроха у тебя обобрал. А сейчас — как будто так и надо.

— Отвыкли уж. В новую веру перекрестили, — сказал солдат с короткими рукавами.

— Одни отучаются, а другие приучаются.

— На кого, значит, как... — сказал сторож.

## Кулаки

1924 год

Мужики сидели на завалинках около изб и лениво болтали, ничего не делая, как будто был не день, а уже вечер, когда самим Господом Богом положено сидеть на завалинках и ничего не делать.

Иные выходили на минутку из сенец, чтобы почесать поясницу, поводить глазами по небу и опять идти в избу.

Крыши некоторых изб, как раскрыло бурей неделю тому назад, так они и оставались, ощерившись ореховым решетником.

В проулке, к пруду, на глинистом бугре виднелась нарытая глина и стояли зарешеченные стропила сарая для выдержки кирпича. Валившаяся тут же солома для крыши уже побурела и почернела от дождей. Очевидно, сарай бросили строить на половине.

Приехавший из Москвы столяр, кум старика Нефеда подошел к одной кучке мужиков, сидевших на завалинке, и поздоровался. Потом поводил глазами по крышам и спросил:

— Что это вы живете-то так?

— А что?

— Как „а что“... ровно у вас тут мор какой прошел: крыши раскрыты, скотины на поле совсем почесть нету ничего, а какая есть, так на ту смотреть противно, — кошки драные какие-то, а не скотина. А сами еще сидите и ничего не делаете. Праздник, что ли, какой?

— Нет, праздника, кажись, никакого нет, — ответили мужики.

— По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет, — сказал столяр, — вишь облачились...

Мужики молча посмотрели на свои рваные кафтаны. А крайний, с широкой русой бородой, как у подрядчика, — сказал:

— Из волости, говорят, ктой-то приехал.

— Из какой волости? Ну, что ж, что приехал?

— А ты с неба, что ли, свалился? Откуда сейчас-то? — спросил другой худощавый мужик, посмотрев на столяра и прищурив при этом глаз, точно он смотрел на солнце.

— Из Москвы.

— А... Это другое дело. Да, черт ее знает, до каких это пор будет, — проговорил он, опустив голову и покачав ею.

— Покаместь полоса не пройдет... — отозвался третий, в накинутаой на плечи поддевке. У него, когда он говорил, был какой-то подмигивающий взгляд.

— Ведь это черт ее что... сидишь без дела, пропади ты пропадом.

— Что ж, у вас дела, что ли, нет, — сказал столяр, — вы крыши-то хоть бы покрыли, а то ишь рты поразинули.

Никто ничего не ответил, даже не взглянули на крыши. Только мужик с русой бородой, не поднимая головы, проговорил:

— Тут у кого покрыты-то, и то хоть раскрывай.

— Ну, ничего не понять, — сказал столяр, — пожав плечами и с веселым недоумением оглянувшись по сторонам.

— Чтобы понимать, для всего науку надо проходить, — отозвался мужик в накинутаой поддевке, — мы вот произошли, теперь понимаем, — сказал он, подмигнув. — Вон она, наука-то, — прибавил он, показав направо.

— Это у нас заводчик было объявился.

Из соседней избы вышел длинный, худой мужик босиком, постоял на пороге, почесал поясницу и прошел к кирпичному сараю, постоял около него, посмотрел и опять пошел в избу.

— Эй, дядя Никифор, ай не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграем...

— Покаместь полоса не пройдет... — подсказал русский. — Да близко дюже к кирпичу не приходи, а то увидят, — запишут. И что, братец ты мой, что значит судьба: прежде ни черта не делали, потому все кругом чужое было. Теперь кругом все наше, а делать опять ничего нельзя.

— А в чем дело-то? — спросил столяр.

— Да вот борьбу эту выдумали, насчет кулаков.

— А тут на м е с т а х - т о на этих так здорово хватали, что, пожалуй, скоро не то что кулаков, а и мужиков-то не останется. Приезжают — кто у вас кулак?

— Нету, говорим, кулаков, всех вывели.

— А кто самый богатый?

— Самых богатых нету, все вон в лаптях щеголяем.

— А кто лучше других живет?

— Такой-то...

— А говоришь — кулаков нету. — Кирпич вон вздумали с кумом на продажу жечь, а они приехали — цоп! Так обложили, что мы теперь издали на него глядеть боимся. Пчел было развели, они опять — цоп!

— Тут лапти-то новые наденешь, и то уж на тебе поглядывать начинают, — сказал мужик в поддевке, подмигнув. — А сначала было коров развели, плуги, веялки всякие... Пропади они пропадом.

— Обрадовались...

— Да... А теперь утихомирились: веешь себе по-прежнему лопаточкой на ветерке: оно тихо и без убытку.

— И пыли меньше.

— Вот, вот... Ах, ты, головушка горькая. Бывало, выйдешь в поле — урожай. Слава тебе, Господи... А намедни я поглядел, рожь хорошая... Мать твою, думаю, — вот подведет! Такая выперла, — прямо хоть скотину на нее от греха запускай.

К говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасно посмотрел на столяра; потом узнал его, поздоровался и торопливо сказал:

— Из волости приехали... Кто нынче кулак?.. Чей черед?

— Эй, Савушка, — сказал русский, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина у него отвалилась у самого колена. — Эй, Савушка, иди, твой черед нынче.

— Какой к черту черед... Я без порток сiju, а вы в кулаки назначаете. И ни самовара у меня нет, ничего...

Пришедший посмотрел на очередного и сказал:

— Да, это не подойдет... куда ж к черту, у него все портки прогорели.

— Все равно черед должен бьгь, — сказал русский. — Самовар у Пузыревых возьмишь, а портки полушубком прикроешь, оденешься.

— Да он и полушубок-то такой, что через него только чертям горю сеять.

— Сойдет... Вот моду тоже завели...

— А что? — спросил столяр.

— Да все то же. А им, знать, чтой-то представляться стало: как приедут из города или из волости, так первое дело требуют кулаков, чтобы у них останавливаться. Ну, известное дело, — и самовар подавай, и яйца, и пироги, и лошадей гоняют. Навалились таким манером на троих наших мужиков побогаче, — каждую неделю раза по два прискакивают с бумагами. Ну, мужики, конечно, волком воют. Теперь уж очередь эту кулацкую установили.

– Чтоб по-божески?

– По-божески не по-божески, а ведь они так по одному всю деревню переведут, всех с корнем выведут. А по очереди-то, все Бог даст, еще продержимся как-нибудь.

– А главное дело работать не дают. Крышу на сарае железом покрыл, – сейчас к тебе два архангела: „В богатеи, голубчик, записался?“.

– Что это по декрету, что ли, так требуется?

– Какой там – по декрету... По декрету все правильно: и работать можешь смело, и даже хозяйство улучшать.

– А может, там один декрет для нас, а другой для них присылают... инкогнито?

– Наверяд. А там кто ее знает. Спасибо хоть по будням приезжают, а с нашими бабами прямо горе: она тебе ничего не сообщает: разрядятся все, как павы, и ходят. Иная и нацепит-то всего на две копейки с половиной, а издали глядеть – будто у нее золотые прииска открылись.

Из Совета вышел какой-то человек и крикнул:

– Эй, куда провожать, сейчас выйдет, избу готовьте.

– Мать честная!.. Пойти похуже что надеть...

– Ну, Савушка, беги, беги. Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмишь. Да коленки-то прикрой, черт! а то за сто шагов видно – сверкают. Дать бы ему хоть портки-то надеть.

– Ничего, скорей из кулаков выпишут.

Тот, которого звали Савушкой, сбегал за самоваром и яйцами, потом пошел к Совету.

Приезжий, в кожаном картузе, с портфелем, вышел на крыльцо; узнав, что кулак уже дожидается, посмотрел несколько времени на него и сказал про себя:

– Кажись, доехали сукиных детей, дальше уж некуда.

## Итальянская бухгалтерия

Семья из пяти человек уж третий час сидела за заполнением анкеты... Вопросы анкеты были обычные: сколько лет, какого происхождения, чем занимался до Октябрьской революции и т. д.

— Вот чертова работка-то, прямо сил никаких нет, — сказал отец семейства, утерев толстую потную шею. — Пять каких-то паршивых строчек, а потеешь над ними, будто воз везешь.

— На чем остановились? — спросила жена.

— На чем... все на том же — на происхождении. Забыл, что в прошлый раз писал, да и только.

— Может быть, пройдет, не заметят?

— Как же пройдет, когда в одно и то же учреждение; болтает ерунду.

— Кажется, ты писал из духовного, — сказал старший сын.

— Нет, нет, адвокатского, я помню, — сказал младший.

— Такого не бывает. Не лезь, если ничего не понимаешь. Куда животом на стол забрался?

— Что вы, батюшка, над чем трудитесь? — спросил, входя в комнату, сосед.

— Да вот, все то же...

— Вы уж очень церемонитесь. Тут смелей надо.

— Что значит — смелей? Дело не в смелости, а в том, что я забыл, какого я происхождения по прошлой анкете был. Комбинирую наугад, прямо, как в темноте. Напишешь такого происхождения, с профессией как-то не сходится. Три листа испортил. Все хожу, новые листы прошу. Даже неловко.

— На происхождение больше всего обращайтесь внимания.

— Вот уж скоро три часа, как на него обращаем внимание... В одном листе написал было духовного, — боюсь. Потом почетным гражданином себя выставил, — тоже этот почет по нынешним временам ни к чему... О, Господи, когда же это дадут вздохнуть свободно!..

— Видите ли, дед мой благочинный, отец землевладелец (очень мелкий), сам я почетный дворянин...

— Потомственный...

— То бишь, потомственный. Стало быть, по правде-то какого же я происхождения?

— Это все ни к черту не годится, — сказал сосед, наклонившись над столом и нахмурившись. — А тут вот у вас как будто написано на одном листе: сын дворничихи и штукатура.

— Нет, это я так... начерно комбинировал...

— Несколько странная комбинация получилась, — сказал сосед: — почему именно дворничихи и штукатура? Напрашиваются не совсем красивые соображения.

— Да, это верно.

— Ну, пропустите это, а то только хуже голову забивать, — сказала жена.

— Ладно, делать нечего, пропустим. А вот тут того еще лучше: следующий пункт спрашивает, чем я, видите ли, занимался до Октябрьской революции и чем содействовал ей. Извольте-ка придумать.

— Участвовал в процессиях, — сказал младший сын.

— Э, ерунда, в процессиях всякий осел может участвовать.

— Писал брошюры, — сказал старший.

— А где они?.. Черт ее знает, сначала, знаете ли, смешно было, а теперь не до смеха: завтра последний день подавать, а тут еще ничего нет. Придется и этот пункт пока пропустить. Теперь: имеете ли вы заработок? Ежели написать, что имею, надо написать, сколько получаю. Значит, ахнут налог. Если написать, что вовсе не имею заработка, то является вопрос, откуда берутся средства. Значит, есть капитал, который я скрыл. Вот чертова кабалистика. Итальянская бухгалтерия какая-то.

— Вот что, вы запомните раз навсегда правило: нужно как можно меньше отвечать на вопросы и больше прочеркивать. Держитесь пассивно, но не активно.

— Прекрасно. Но ведь вам предлагают отвечать на вопросы. Вот не угодно ли: какого я происхождения? Это что, активно или пассивно?.. А! Миша пришел, официальное лицо. Помогите, брат, замучили вы нас своими анкетами...

— Что у вас тут? — спросил, входя, полный человек в блузе, подпоясанный узеньким ремешком.

– Да вот очередное удовольствие, ребусы решаем.

Пришедший облокотился тоже на стол, подвинул к себе листы и наморщил лоб. Все смотрели на него с надеждой и ожиданием.

– Что же это у тебя все разное тут? – спросил он, с недоумением взглянув на хозяина.

Тот, вдруг покраснев и растерянно улыбнувшись, сказал:

– Да это мы тут так... комбинировали, чтобы посмотреть: что получится?

– Хороша комбинация: на одном листе – почетный гражданин, на другом – из духовных... Да ты на самом деле-то кто?

– Как – кто?

– Ну, происхождения какого?

– Гм... дед мой благочинный, отец землевладелец (очень мелкий), сам я...

– Ну, и пиши, что из духовных. Вот и разговор весь.

– А вдруг...

– Что, „а вдруг“?

– Ну, хорошо, я только сначала начерно.

– Вот тебе и все дело в пять минут накатали; ну, я спешу.

Когда полный человек ушел, хозяин утер вспотевший лоб и молча посмотрел на соседа.

– Как он на меня посмотрел, я и забыл, что он мне шурин. О, Господи, всех боишься. Спасибо, я догадался сказать, что начерно напишу. Вишь, накатал.

И он, оглянувшись на дверь, разорвал лист и отнес клочки в печку. Потом, потянувшись, сказал:

– Нет, больше не могу, лучше завтра утром на свежую голову.

Выходившая куда-то жена подошла к столу и заглянула в анкету. Перед ней лежал чистый лист.

– Ничего не удалось написать?

– Только возраст.

Когда жена ночью проснулась, она увидела, что муж в одном белье и носках сидел за столом и, держась рукой за голову, бормотал:

– Ну, хорошо, ежели допустим, что свободной профессии, то какой?.. Если я писал брошюры, и они сгорели... Ну, возьмем сначала:

– Отец мой – землевладелец, дед – почетный гражданин, сам я – благочинный.

– О Боже мой, сейчас на стену полезу!..

**Михаил Булгаков**  
(1891 — 1940)



# Роковые яйца

## *Глава I*

### ПРОФЕССОР ПЕРСИКОВ

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве, Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиной этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области,

т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персигов почти ничего не говорил.

Газет профессор Персигов не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

„Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них”.

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухоньякая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессора Уильяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персигов не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 1/4 и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персигов определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персигов оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то

провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выставяющего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекла. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему „Пресмыкающиеся жаркого пояса“. Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 21-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и кроме того на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах:

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и broadly кричал Панкрату: — давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатизэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919 – 1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2 1/2 тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабине.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2.000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

„Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов” 126 стр. „Известия IV Университета”.

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

„Эмбриология пип, чесночниц и лягушек”. Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

## Глава 2

### ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-ом году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного Цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьевич, я установил брьжжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо, — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брьжжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: „сволочи вы, вот что...”

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков и сотни его учеников видели очень много раз и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном

молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкафах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремное крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами.

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господи, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял штору, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу, — пробурчал он, — пропал. Понимаю. По-о-нимаю, — протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажг шар. Заглянув в шар, радостно и как бы хищно, ослабил.

— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху — поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусочек сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургуч-

ных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на шиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько поддвигал со сна.

— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял.

— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персигов, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.

— Ну, вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел. — Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий!.. — Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелой дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, — профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые

ноги, — гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. — Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым голосом, — что ж ты другую-то калошу пропил!

— Видно, в Альказаре набрался старичок, — завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

### Глава 3

#### ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем — в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной скоростью.

носной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амев, а, во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амев, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихоноcko шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, — теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от света. — Он любовно поглядел на матовый шар вверх, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амев.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите!..

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов в ужасе приликая глазом к окуляру, — что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить

при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояко-выпуклые, двояко-вогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. опыты дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали без всяких сроков метать икру и в 2 дня уже вне всякого луча вывели новое поколение и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расплозились из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках, завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалее. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, — видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну, — пробормотал он.

— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его „Пищу богов“?

— А, это роман, — ответил Персиков.

— Ну да, Господи, известный же!..

— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте, — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, — ведь это же чудовищно!

#### Глава 4

### ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвываясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты „Известия“ под заголовком „Новости науки и техники“ появилась короткая заметка, трагующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевернута и напечатано: „Левсиков“.

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— „Левсиков“, — проворчал Персиков, взяв с камерой в кабине, — откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевернутая фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

*АЛЬФРЕД АРКАДЬЕВИЧ БРОНСКИЙ*

Сотрудник московских журналов — „Красный Огонек”, „Красный Перец”, „Красный Журнал”, „Красный Проектор” и газеты „Красная Вечерняя Москва”.

— Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — прокрипел Персиков и стал страшен.

— Из гепею, они говорят... — бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: „Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала „Красный Ворон”, издания ГПУ”.

— Позовика-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь, — ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят, — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев, — я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да, — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор; — что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... „Ну, тип. Ведь это черт знает что такое!“

— Что за бытовые вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства. Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, — сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишете! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков, — что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, закричал Персиков, — вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, — квакши?

— Из полфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушечьей икры... тогда пожалуй... черт, ну около этого количества, а, может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос, — завыл Персиков, — и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукиванье в пол и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков, — Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты „Вестник промышленности” при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор, — я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел телефон по-немецки, — дас их штере. Их бин митарбейтер дес Берлинер Тагелатс...

— Панкрат! — закричал в трубку профессор, — бин моментан зер бешефтигт унд кан зи дешальб етцт нихт эмфанген!.. Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

\*

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сильные голоса, вертясь в гуще огня между колесами и всплшками фонарей на нагретой июньской мостовой, — кошмар-

ное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!.

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: „Красная Вечерняя Газета”, открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского, „В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч”, гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком „Мировая загадка”, начиналась статья словами:

„Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...”.

Под статьей красовалась подпись „Альфред Бронский (Алонзо)”.

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова „Говорящая газета”, и тотчас толпа запрудила Моховую.

„Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! — Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...”

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я, — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, — никак-го садитесь ему не говорил. Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, — но, право же, когда работаешь и рвутся... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хотя описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек, — ведь вам теперь все равно...

— Из полуфунта икры в течение 3-х дней выгуляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре.

— Ту-гу, — глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го, — шуршала толпа, задирая головы.

— Каков мерзвец? А? — дрожа от негодования, шипел Персиков механическому человеку, — как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцевой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор, — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гири. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года заглохла у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детьми зарезали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети, — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту, — закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

## Глава 5

### КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице, вышла связанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетиками и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова рыдала так громко, что вскорости из домика

через уличку в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь это что ж такое? — Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянть, глянть, Матрена, — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжело, — ты глянть, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего „Сыр и масло Чичкина в Москве”.

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. „Эр... рр... урл... урл го го-го”, выдывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на короточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

— Господи Иисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам, — это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала

кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу, — что ж они со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но куда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его усталились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья, — зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненной рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древеньким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудями закоченевшая птица.

Наутро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной ул. к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово „мор”. Фамилия Дроздовой попала в местную газету „Красный Боец” в статье под заголовком: „Неужели куриная чума?”, а оттуда пронеслось в Москву.

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспоконную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью „Рабочая Газета”. Он, профессор, дробясь и зеленея и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: „Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову”. И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: „Народный комиссар здравоохранения”.

— Что такое? — искренно недоумевал ученый чудак, — что с ними такое сделалось?

В 10 1/4 того же вечера раздался звонок и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор, благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): „Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике советов”.

— Черт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

— Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного. — Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями и в правом глазу у него сидел монокль. „Какая гнусная рожа”, почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его

сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: „но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать” (гость, смеясь, всхлипывая, как гиена).

— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

— Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого: время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. — Он позволил...

— Профессор, — ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах, нет, хи-хи-хэ... он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжело положение ученых в советской России. Антр ну суа ди... Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помочь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании. Государству известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м и 20-м году во время этой хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

— Какой-нибудь пустяк, 5.000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

--- Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

– Сдали? – бушевал Персиков.

– Сдала.

– Расписку мне.

– Да, Владимир Ипатьевич. Да неграмотный же председатель!..

– Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:

„Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) пакало. Колесов“.

– А это что?

– Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: „все ли благополучно“? Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

- Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

– Чай будете пить, Владимир Ипатьич? – робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

– Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт из возьми... как взбесились, все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном, защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь

виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает, — бубнил Персиков, — ну противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: „Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами“, и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконично и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почувствовалось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колпочие глаза. Но они ментально угадали.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут ну. Пеленжовского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо... — и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загрели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Чего вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нащептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако, у вас здорово поставлено дело, — промьгчал Персиков и прибавил наивно, — а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — неслось из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У, не приведи Бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьевич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик и чисто зоологический. Позвольте предложить?

— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: „все-таки в этом мерзавце есть что-то американское”.

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат, впусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько протер свою ласковость, что рывкнул ему: садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так, — почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за „пара минуточек” и „за кур”? Вы, вероятно, хотели спросить „насчет кур”?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбался, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. „Шутка — мало!” — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, где перед ним подразумевались тысяча человек... — из семейства фазановых... фазианидэ. Представляют собою птиц с мясистокожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что же еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?... Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, — тихо-нечно шепнул Альфред.

— Гм... не специалист я... вы Португалова спросите... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блоха, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмококк, туберкулез, куриные парши... мало ли что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйна... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты „Известия”.

— Я не читаю газет, — ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут, — не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор, — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным ногтем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты: „Куриный мор в республике”.

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

## Глава 6

### МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: „ р а б о ч и й к р е д и т ”. В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фон-

тан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

– Антикуринные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя и рупор жаловался басом:

– Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. – хохотал и плакал, как шакал, рупор, – в связи с куриной чумой!

Театральный проезд, Неглинная и Лубянка, пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

„Под угрозой тяжчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции”.

На крыше „Рабочей Газеты” на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался ключьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: „Сожжение куриных трупов на Ходынке”.

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: „Яичная торговля. За качество гарантия”. Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: „Мосздравотдел. Скорая помощь”.

– Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, – шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан „Ампир” и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: „По распоряжению – омпета нет. Получены свежие устрицы”.

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушевной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

*Ах, мама, что я буду делать  
Без яиц??*

и грохотали ногами в чечотке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке Пушкинского „Бориса Годунова“, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга „Курий дох“ в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивиева „Курицыны дети“. А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: в театре Корш возобновляется „Шантеклер“ Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземельи! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискляво спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га, — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

\*

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, ни на кого не глядя, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков, — извините.

— Извиняюсь, — ответил встречный неприятным голосом, и коекак они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умели ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия — но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на севере до Архангельска и Сямкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало, не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан „Доброкур“, почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: „Массовая закупка яиц за границей“ и „Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию“. Прогремел на всю Моск-

ву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: „Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!”

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы, и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: „Об изменениях печени у кур при чуме”.

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, — вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное злоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на кленчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были загружены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыба и лягушечья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаху сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, — ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

— Он быстрее ходит, — ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолка и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

\*

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры,

где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнее от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рокк с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с, — ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил, прежде всего, шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом „Красный Луч“, — пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол, — с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил топорливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да, ведь он черт знает что наделает!!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете

— Извиняюсь, — начал он, — я завед...

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь, — начал он, — вы же, товарищ?..

— Что вы все товарищ да товарищ... — хмуро бубнил Персиков и смолк.

„Однако”, — написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста, — перебил Персиков. — Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, — пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот номер 1... и зеркало номер 2, — Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, — а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что по моим наблюдениям он вызывает разрастание эпителия... а злокачественно оно или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены иодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, — раздраженно ответил профессор. — Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

— Извин...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это величайшей важности дело...

— Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, — ответил Рокк, — вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну, так что из этого? — завопил Персиков, — что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще неизученного луча?

— Товарищ профессор, — ответил Рокк, — вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете, — загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне, — ответил Рокк...

Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-Богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно выращивать, не только цыплят.

— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?

— Когда?

— Да, вот, я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: „Лучше б ты уж наорал на меня!“

— Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, — жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь... Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страха руки по швам...

— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлопнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубашкой.

— Лучше б убил, ей Бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... Бо... — уверил Панкрат.

— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.

— Никак, — согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... Чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

## ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен казался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

### СОВХОЗ „КРАСНЫЙ ЛУЧ”

и прямо к автомобилю полугрузовичку, привезшему три черных камахи под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый, матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика, великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

— Vorsicht: Eier!!

— Осторожно: яйца!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако, тотчас захопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена, Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и

здесь все носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно поглядывал на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы не видите — яйца?

— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них мелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то, что у нас. — Маня, осторожно, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница, — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, — разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело, — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

\*

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну, слушаю, — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона... В нем что-то шелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков, — откуда говорят?

– Из Никольского, Смоленской губернии, – ответила трубка.

– Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

– Рокк, – сурово сказал трубка.

– Какой Рокк? – Ах, да... это вы... так вы что спрашиваете?

– Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

– Ну?

– ...А они в грязюке в какой-то...

– Что-то вы путаете... Как они могут быть в „грязюке“, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного... помет присох... или что-нибудь еще...

– Так не мыть?

– Конечно, не нужно... Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

– Заряжаю. Да. – Ответила трубка.

– Г-м, – хмыкнул Персиков.

– Пока, – цокнула трубка и стихла.

– „Пока“, – с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, – как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

– Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

– Д... д... д... – заговорил Персиков злобно, – вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. – Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

– Совершенно верно, – согласился Иванов.

– Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

– Нельзя поручиться, – согласился Иванов.

– И какая развязность, – расстраивал сам себя Персиков, – бойкость какая-то! И ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. – Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)... – а как я его буду этого невежду инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

– А отказаться нельзя было? – спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да... — сказал он многозначительно.

— И ведь, заметьте... Я своего заказа жду два месяца и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие.

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да, вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно, — согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот с... Вы, стало быть, я и еще кто-нибудь, из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. г-м... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, — злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент, — заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь, — продолжал Персиков, — только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти добродетели ихние. Пришлют какой-нибудь гадости.

— Нет, нет, — и Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру, — ответил Иванов, — мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил... Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм... — это остроумная идея... Очень, — Персиков пошел в угол, взял грубку и квакнул...

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

\*

Дни стояли жаркие до невозможности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать „Известия”, за исключением шахматного отдела, набранного мелкой непарелью. Но в такие ночи никто „Известия”, понятное дело, не читал... Дуня уборщица оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу-луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить невысказанное, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из „Пиковой Дамы” смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

*Угасают... Угасают...*

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа „Волшебные Грезы” в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он по-

кинул „Волшебные Грезы” и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе „Грез” ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению Туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской „Красный Париж” родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами

ярко красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар сверху в 15.000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, — вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну, что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся на своей шнели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. словно пред грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что, якобы, все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча?

— Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роше и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович. — Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры, — это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал сияя Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, — строго добавил он. — Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо, — хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки... закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящичках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело, — уверял охранитель, — я тут непричинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен, — распекал его Александр Семенович, — что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю, — обиделся, наконец, воин, — что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куда ж они подевались?

— Да я почему знаю, — взбесился, наконец, воин, — что я их караулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу в луче.

— Черт их знает, — бормотал Александр Семенович, — окна запорты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович, — крайне удивилась Дуня, — станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып... — начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик-сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже

всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют, — сказал Александр Семенович, — вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу...

— Да, дело замечательное, — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не выпулился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и, чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена гряда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он проходя плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович старожиллся и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять — мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой тагуи-

ровке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из „Евгения Онегина”. Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримой ненавистью к этой опере.

— Что ты одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка, на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желтобелой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на поларшина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея повернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фон-

танчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

## Глава 9

### ЖИВАЯ КАША

Агент государственного политического управления на станции Дугино, Шукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рьжему Полайтису:

— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, — потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Шукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Шукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами, — сказал Шукин, обращаясь к Александру Семеновичу, — покажете нам где и что. — Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать, — добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву, — плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно, — решил Шукин, — вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Шукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпавал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей вы-

щербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевно больной и у него была страшная галлюцинация. Шукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Шукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Шукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Шукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промahnуться было очень трудно. Шукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Шукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Шукин стал посматривать серьезно, все более хмурия светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Шукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Шукин. — Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям, — распорядился Шукин, — все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидели блещущие стекла оранжереи.

— Погоди-ка, — заметил шепотом Шукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерею и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с... шипела оранжерея.

— А, ну-ка осторожно, — шепнул Шукин и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Шукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила, как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар и от этого вся внутренность оранжереи освещалась страшным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как мятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло страшным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад, — крикнул Шукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился и в ответ на стрельбу Шукина

вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. Чах-чах-чах тах, стрелял Полайтис, отступая задом. Станный, четырехлапый шорох послышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо, на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбило его на землю.

— Помоги, — крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги, — промышчал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади выскочила из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скаल्प, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты „Известия” ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами „По Союзу Республик”. Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

„Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья”.

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в „Русском Слове”, допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж. — Что же ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, — просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно, — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому „Известия” и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий „Известия”, у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: ничего интересного, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с, — говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

„Хорошенькое дело”... — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает, что такое, — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, — это неслыханное издевательство надо

мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, — он стал считать по пальцам: — ловля... ну, десять дней самое большее, ну, хорошо — пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неописуемое безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих, как ртуть, с этикеткою „доброхим“, „не прикасаться“ и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на „Федоре Иоанновиче“, и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, прочитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале „Зоологический Вестник“, полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины „Известий“. В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительно розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки „занято“, „занято“, и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе, — отвечали наборщики, — ведь это что ж такое. — Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе, и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков, — отвечали из гущи, — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, попеременно с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то, что „Известия” выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук испещренные заграничными наклейками на немецком языке и над ними царствовала одна русская меловая надпись: „осторожно — яйца”.

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то, — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, — это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодюю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: „экстренное приложение“, посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, выслушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая, Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что, — задыхаясь, забормотал он, — теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьевич, вы только гляньте, — он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей, — кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стол и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым...

— Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... Боже мой, — повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, — и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скотканного листа... — Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая невероятные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков разноцветный, иссиня бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплывавшему от ужаса на месте. — Воды ему... у него удар.

## Глава 11

### БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни и в квартирах не было места, где бы не сняли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланым гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезу-

мевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлиplyванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью едут отряды красной армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воюющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроколенных шлемах, ошетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: „Осторожно. Третьяковская галерея”. Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, непрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия, шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует конная армия! — кричали исступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!! давят!.. — выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремяна и це-

луя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью „газ” „Доброхим”.

— Выручайте, братцы, — завывали с тротуаров, — бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать... — перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

*...Ни туз, ни дама, ни валет,  
Побьем мы гадов без сомненья,  
Четыре с боку, ваших нет...*

Гудящие раскаты „ура” выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул „ура... ура”...

\*

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не

читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстовой зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жесткие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекляневшими глазами перед собой и курил. Кроме него, только два человека были в институте — Панкрат и, — то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: „ишь как беснуются... что ж я теперь поделаю”. И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованные

двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высypалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шархнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: — убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте. — Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, при чем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова:

— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, — они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбилась от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

— Мирового злодея!

— Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья лежал неподвижно в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марию Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насыпывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

## Глава 12

### МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожиллов никогда еще неотмеченный, мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданном холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший

Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец и им заведывал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пыгался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе „Красный Луч” при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

## Собачье сердце

### I

У-у-у-у-угу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, Боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане „Бар” жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикап по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя – все равно, что кашу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных

головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне — „милая Аида” — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С... эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в Бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает; а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопают... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вон она, вон она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кру-

живная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времячко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышняя в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. — „Шарик“ она назвала его... Какой он к черту „Шарик“? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляпка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего, — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот

последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот гухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката „Возможно ли омоложение?“.

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой „Особая Краковская“. И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в Краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пылливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утерять в суতোлке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял Краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на ката он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р... га... у! Вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалась приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулоч.

Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

- Да не бойся ты, иди.
- Здравия желаю, Филипп Филиппович.
- Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тянуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жил-товарищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, пергнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, попеваю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули и вот — бельэтаж.

## II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве), и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и при том безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово „колбаса”.

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведаль изолированной проволоки, а она будет пощиче извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что „голубой” не всегда означает „мясной” и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. „А” он выучил в „Главрыбе” на углу Моховой, а потом и „Б” – подбегать ему было удобнее с хвоста слова „рыба”, потому что при начале слова стоял милиционер.

Израцовые квадратикки, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали „Сыр”. Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина „Чичкина”, горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше „миллой Анды”, и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово „неприли...”, что означало „неприличными словами не выражаться и на чай не давать”. Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких случаях, – салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом

двери. Три первых буквы он сложил сразу: Пэ-ер-о „Про”. Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. „Неужто пролетарий?” подумал Шарик с удивлением... „Быть этого не может”. Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал:

Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает — что оно значит.

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

Вот это да, это я понимаю, — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятию шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на жилете у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

Повар, каторжник повар! — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной камерке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

Э, нет, — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя.

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаанный!

Где у них черная лестница?.. — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил набум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, — Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво вбок. Спасибо, конечно, — мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла: — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы-живодеры, за что же вы меня?

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

•

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. „Все-таки отделали, суки-

ны дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость”.

— „От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей”, — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подпернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!

— „Р-раздаются серенады, р-раздается стук мечей!”. Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

У-у-у — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Ты тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок тащишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... „Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...”.

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папирсы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развешивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъясним...

Дверь мягко открылась и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тьякнул, но очень робко...

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

Господи Иусе, — подумал пес, — вот так фрукт!

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расплзались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тя, тья!.. — он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннер — 25 лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую

ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

Я не кусаюсь? — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость!\* Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало. — Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не ежу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович.

---

\* „Жиркость” — сов. учреждение по изготовлению косметических средств.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. „Много крови, много песен...“. Одевайтесь, голубчик!

— „Я же той, что всех прелестней!..“ — дребезжащим, как сковорода, голосом поддел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тянутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Странные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светила науки. Но клянусь — это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась со страху ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами растегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— „От Севильи до Гренады...” — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные прорывались на ее щеках, — я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму.

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— „От Севильи до Гренады...” Угм... в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихим боком и теплом, даже всхрипнул и успел увидеть кусочек приятного сна; будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тявкнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа, — возмущенно кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

- Женат я, профессор.
- Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

Похабная квартирка, — думал пес, но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая.

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверьпустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

Этим что нужно? — удивленно подумал пес. Гораздо более неприятно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребинного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаче.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь?

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здорово.

— Это неопишимо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 8. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то случилось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас подождать.

„Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...“

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Моск-

ве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь можете меня бить — как хотите, а я отсюда не уйду.

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

### III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринован-

ные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной катушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тигров, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчалось. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. „Сады Семирамиды“! — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их, — хищноскомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тятнутый — он был уже без халата в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Ново-благословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, — Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно, — уверенно молвил тятнутый.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. — ..Мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. „От Севильи до Гренады...“.

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тятнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики.

Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнувший раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать „Правду”, — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портюре появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Словая его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать, и больше не может видеть никакой еды. „Странное ощущение, думал он, — захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость”.

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся.

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запираť под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, — кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат „бей разруху!“ — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют.

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! „Угу-гу-гу!“ — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: „мерси“.

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — „Аида“. А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патолого-анатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживет.

Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день, серые гармоникки под подоконником наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса — красавца.

Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных даялах. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом — не возьмет он первого попавшегося пса-дворянцу.

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Ес-

ли даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полновзвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесков, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филип Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуетесь. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на зад, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковра, тащили тыкать в сову, при чем пес заливался горькими слезами и думал — „бейте, только из квартиры не выгоняйте”.

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, под-

жал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облял его „барской сволочью” и „шестеркой”. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил: — Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы, — за шестерых лопают, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

Ошейник — все равно, что портфель, — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхла запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна, вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете? — и он боком лез в дверь, просновывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашницей, заливала все это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыга-

ло. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клочкотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окно кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было „Аиды” и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыхлых резиновых перчатках, и скользкие тулые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— „К берегам священным Нила”, — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!

\*

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппети-

та. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

Не люблю кутерьмы в квартире, — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся.

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. — Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

Не нравится мне, не нравится, — пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото, — решил пес, и вдруг получил сюрприз.

— Шарик ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто глупо...

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали.

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

Сову раздери опять, — бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно, — бок зажил — ничего не понимаю.

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как эпитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В кукле оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за

его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

Что же... вас трое. Возьмите, если хотите. Только стыдно вам... Хотя бы я знал, что будете делать со мной...

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутнящий запах разлился от него.

Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно... — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрыгнуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. „Злодей..." мелькнуло в голове. „За что?" И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

#### IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно.

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровоточить, потеряю время и пса потеряю. Впрочем, для него и так никакого шанса нету — он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступала кровь. Обрив голову, тянутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: „Готово”.

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная борода-тая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груди на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить шариковую рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые,

плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: „Ножницы”.

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иглой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож, — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более 5-ти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович вьелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь

начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет-не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... „К берегам священным Нила...“ Придаatok давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — „Не имеет равных в Европе... ей-Богу!“, — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в 5 зашил голову, сломав 3 иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в

стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

## V

### ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА БОРМЕНТАЛЯ

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборен и четок, в дальнейшем размахист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

### ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Породы — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.). Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8,30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившегося в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адrenalина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения воп-

роса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром – улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан неопиcанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура —.

*(Запись карандашом)*

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова „гау-гау” на слоги „а-о”, по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

*(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.)*

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

*(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):*

1 декабря. *(Перечеркнуто, поправлено)* 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Счастливо лает „Абыр”, повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово „Абыр-вал”, „Абыр”.

*(Косыми буквами карандашом):* профессор расшифровал слово „Абыр-валг”, оно означает „Главрыба”... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

*(В тетради вкладной лист.)*

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. – глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

---

*(Перерыв в записях.)*

---

6 января. *(То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)*

Сегодня после того как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово „пивная”. Работает фонограф. Черт знает – что такое.

---

Я теряюсь.

---

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где рассказывает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова „еще парочку”.

7 января. Он произносит очень много слов: „Извозчик”, „Мест нету”, „Вечерняя газета”, „Лучший подарок детям” и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов – формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

---

Ей-Богу, я с ума сойду.

---

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. *(Фонограф, фотографии.)*

---

По городу расплылись слухи.

---

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка „Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распушены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны”. — О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

---

Еще лучше в „Вечерней” — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: „Проф. Преображенский, делающий кесарево сечение у матери”. Это — что-то неопишное... Он говорит новое слово „милиционер”.

---

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

---

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

---

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипотеза дает не омоложение, а полное очеловечение (*подчеркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачеркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчетливо

произнесенное слово: „буржуи”. Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

– Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: „Что же мы теперь будем делать?” И сам же ответил буквально так: „Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...”. Я ничего не понял. Он пояснил: — „Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак”.

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: „Не толкайся”, „Подлец”, „Слезай с подножки”, „Я тебе покажу”, „Признание Америки”, „Примус”.

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: „В очередь, сукины дети, в очередь!” Был одет. Носки ему велики.

*(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)*

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: „Дай папиросочку – у тебя брюки в полосочку”.

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: „Не бросай объедки на пол” — неожиданно ответил: „Отлезь, гнида”.

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал „Ой, яблочко”. Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский вы — творец. *(Клякса.)*

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал *(3 восклицательных знака)*. Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

---

Что в Москве творится — уму не постижимо человеческому. Семь сахаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о све-

топреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отутили.

---

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: „Вы думаете?“ Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я возжусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

---

*(В тетради вкладной лист.)*

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (*алкоголь*). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной („Стоп-Сигнал“, у Преображенской заставы).

---

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцией. За это время облик окончательно сложился.

- а) совершенный человек по строению тела;
  - б) вес около 3-х пудов;
  - в) рост маленький;
  - г) голова маленькая;
  - д) начал курить;
  - е) ест человеческую пищу;
  - ж) одевается самостоятельно;
  - з) гладко ведет разговор.
- Вот так гипофиз (*клякса*).

---

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор Борменталь

## VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

„Семечки есть в квартире запрещаю”.

Ф. Преображенский.

и синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталья:

„Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается”.

Затем рукою Зины:

„Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером”.

Рукой Преображенского:

„Сто лет буду ждать стекольщика?”

Рукой Дарьи Петровны (*печатно*):

„Зина ушла в магазин, сказала приведет”.

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

„Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р”.

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации „Светит месяц” смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально зашел сквозь зубы:

— Све-е-тит месяц... све-е-тит месяц... светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурочек сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел плавающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штилеты с белыми гетрами.

„Как в калошах”, — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул силло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстук.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же „гадость”? — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... .. вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту „пес его знает“!? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не дадите?! И насчет „папашин” — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лял — хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предьявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, с-гара вывалилась из рук. „Ну, тип”, — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! „Кошмар, кошмар”, — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурочек в раковине с выражением, ясно говорящим: „На! На!” Затувив папиросу, он на ходу вдруг лягнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович, — и я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, — видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без до-

кумента? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах, ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шлаться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так „шлаться“?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. „Надо все-таки сдерживать себя“, — подумал он. Подойдя у буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? — По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: „Дурак, дурак“. Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ре-сефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: „Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя“.

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

\*

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предьявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите „и очень просто“ — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: „Да“... покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— „Сим удостоверяю“... Черт знает, что такое... Гм... „Предьявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах“... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — „профессор Преображенский“.

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро твякнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову.

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: „Не угодно ли — мораль”. Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покругившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. „Изнервничался старик”, подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червиной трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сде-

лались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас.

— Филипп Филиппович, — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в иступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, — царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Зашелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель зашелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу расколол, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубочку у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо — в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Боится выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней, и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью, — мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появились за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, лещий, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна, — выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, Боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись баннным налетом и звонки прекратились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал. — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уже в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, поздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящие полтинника и вручил их Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

– Это так... – добавил решительно Федор, – вот это так... Да поуху бы еще...

– Ну, что вы, Федор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

## VII

– Нет, нет и нет! – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить.

– Ну, что, ей-Богу, – забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания.

– Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так „примите“? – расстроился Шариков, – я сейчас заложу.

Левой рукой он заслони́л блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилкой, пожалуйста, – добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я еще водочки выпью? – заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? – осведомился Борменталь, – вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите... – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, – произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, -- сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да „извините“, да „пожалуйста — мерси“, а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это „по-настоящему“? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес.

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытии проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с необычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича.

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut, — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. „Надо будет Робинзона”...

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. „Всех, кто скажет, что другая...” А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что ж: один в семи

комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съезжился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразии, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы *стоите*... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы *стоите*...

— Вы *стоите* на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать такие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы нагло талась зубного порошок...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну, вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учитесь и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. – Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

– Зина! – кричал Борменталь.

– Зина! – орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приемной... Она в приемной?

– В приемной, – покорно ответил Шариков, – зеленая, как купорос.

– Зеленая книжка...

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казенная, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме – как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

„Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире“, – вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду ее есть, – сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофию, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетири и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради Бога, посмотрите в программе – котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизями лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы „к берегам священным Нила...” и что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку

спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-Богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталья и Шарикова из цирка.

## VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился раз 8 поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, — по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно „Шариков”, и я и доктор Борменталь будем называть вас „господин Шариков”.

— Я не господин, господа все в Париже! — отлалял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович, — ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое: благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig... — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталь, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа

Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальником в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: „Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...“, дальше шла римская цифра X.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и приликая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях, как при виде, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости Господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то „и“, не то „е“ — вроде „ээз“! Лицо его побледнело и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забежали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик, мой... растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-Богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок... „От Севильи до Гренады...“

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... „К берегам священным Нила...“ Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!.. — страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом, — ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно, — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

– Ну, вот, это же немыслимо, – шептал Борменталь, – в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

– И не соблазняйте, даже и не говорите, – профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, – и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на „принимая во внимание происхождение” – отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

– Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно, – горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

– Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец – кафедральный протоиерей. Мерси. „От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей...”, вот черт ее возьми.

– Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

– Тем более не пойду на это, – задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

– Да почему?

– Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

– Где уж...

– Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я – московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

– Филипп Филиппович, эх... – горестно воскликнул Борменталь, – значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

– Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

– Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! – с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

– Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Фinita, Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном, — Клим, — повторил он. Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! „От Севильи до Гренады...“ Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь, спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то.

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рывкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только несчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я — Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар.

Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он — Клим, Клим, — крикнул профессор, — Клим Чугунов (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, „все поделить”, шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! „От Севильи до Гренады...” — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я кланюсь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции.

Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради Бога не клеветайте на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучше из всего, что он делает. Сообразайте, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Кончено. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуют...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово „уголовщина”.

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это „что-то”, упираясь, садилось на зад и небольшие его ноги, покрытые черным пухом, заплетались по паркету. „Что-то”, конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяньским, разломаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Пользуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграффа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините ради Бога, — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, от чего лазеревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

## IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. „От Севильи до Гренады”, Боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово „милиция”, как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: „Предъявитель сего товарищ Полиграф Поли-

графович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ”.

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, — не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну, хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть „караул”, но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепной квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побегровешую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у окна, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день авансы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... „От Севильи до Гренады”, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают займы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазаннми глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на Колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговаривал Борменталь, — сам лично буду справляться в чистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что со-

кратили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо шелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. „...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин”.

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задержал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

\*

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосушим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туца ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловецким сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, шурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кощачьим запахом — шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падуцей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

„Сегодня приема по случаю болезни профессора — нет. Просят не беспокоить звонками”.

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и издоранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

## ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар

Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и dokonчил, — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Бунинной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович, — это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человечек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволиите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскокил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорит... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктор Борменталья: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

\*

Серые гармонии труб играли. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

„Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неопишимо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Прав-

да, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть”.

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— „К берегам священным Нила...”

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, шурился и пел:

— „К берегам священным Нила...”



**Михаил Зощенко**  
(1895 — 1958)



## О чем пел соловей

### 1

А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади.

Ну, что ж! Пущай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где ж им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась.

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит автор этой будущей прекрасной жизни.

Да и будет ли она прекрасна — это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали вместо помершего родственника какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху...

Конечно, это не без того, — будут случаться также ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплат-

но, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в Гостином дворе...

— Возьмите, скажут, у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется.

— Да нет, — скажешь, уважаемые товарищи. На черта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, черт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счета и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах, ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии заставить ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нет никакой любви. И никогда не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, в роде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедываться перед случайным читателем и не хочет некоторым особо неприятным автору критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое, белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда, от избытка всевозможных благородных чувств, падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет, и автор слегка седеет от различных болезней и от жизненных потрясений и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть всю жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений, — он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и партийных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это, — скажут, — товарищ, не пример собственная ваша фигура. Что вы, — скажут, — в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, — скажут, — персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То есть, дозволейте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно, — скажут. — Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, — скажут, — на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в „Правде“ о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пушай об этом изящном чувстве каждый думает как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пушай трамвай впереди, — автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии.

## 2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

Потом весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина.

Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан.

Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же

автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора мало замеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков — братишка ее, комсомолец, — менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, если у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи — так сказать, мамыши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, если мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более, что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая это старушка? Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер 22. Повыше на досточке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету... Ну да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет... Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет...

Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешено. И у плиты старуха продук-

ты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с под ножа свивается.

Только пушай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И может, и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так – жалкая жалость. Ну войдешь в эту кухню и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости Господи! Противно же мордой в чулок. Ну его к черту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автор не слишком-то превозносит человека. Пора же, граждане, наконец, отказаться от бессмысленной к себе гордости! Автор считает, что если каракатица уживается на мокрой плесени, то почему бы и человеку на сыром белье не ужиться.

Все же автору всегда было очень-очень жаль Лизочку Рундукову.

О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник, он просто случайно замешкался в их жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя, вместе с тем, автор, закрытая глаза, видит его, как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение – неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал – тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так ска-

зять, неведомые дали и приключения? Черт его душу разберет. Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего в провинции сытней показалось. Потому первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью и имеющего право жить и знающего себе полную цену.

И, действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы или траву, или даже листья.

Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову — никому неизвестно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорей всего, думал, что ему совершенно необходимо переманить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради Бога, какой-нибудь квартирнки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И, наконец, кто-то, по доброте душевной, сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых.

Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра выехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо, уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

— Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

### 3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартиру не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее, и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, не может переносить лишних мешанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик, и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказа.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможностях вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли он трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец, на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин, по обыкновению, собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и даже восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом, женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает какая, греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалу не оберешься. Этакое

платье не настоящее — опять не дотронись. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите, кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако, относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо охнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку. Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову на бок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрасивал ее изобразить еще и еще что-нибудь шипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми, или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может, даже — черт их разберет! — и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидываясь на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбить Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистел раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в одну, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил рассказать барышню об ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования. Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышняя загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила: не знаю.

#### 4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни и даже последнюю, дьяконицу, с которой у него-таки был роман, автор совершенно в этом уверен, Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать первом году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десятка различных стихотворений и одну балладу.

Автор не знаком с его стихиками, но одно стихотворение, под заглавием: „К ней и к этой“..., посланное Былинкиным в „Диктатуру Труда“ и не принятое редакцией, как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,  
Любовь прогрессом называл  
И только образ твоего  
Изящного лица внимал.

\*

Ах, Лиза, это я  
Сгорел, как пепел от огня,  
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стишки эти как будто и ничего себе. Но вообще же стишки — довольно паршивые стишки и, действительно, несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки „Козьявки“. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красками природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренно удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то — луна кругом — таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом такая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни. Автор, как и всякий человечиска, считает себя в праве хотя бы как-нибудь прожить, несмотря ни на какие окрики строгих и нетерпеливых критиков.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь вроде свинки.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по несколько раз в день, расспрашивая, не хочет ли болящий клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: Ну как? Что? Есть ли надежда? И что пушай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушек и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбил ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрасывая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал еще более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь, как нельзя более, испытала крепость ихней любви.

## 5

Это была совершенно необыкновенная любовь.

А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни и голова с шей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, когда ему перевалило за тридцать лет, он, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их прийти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж за- сиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив разрешение называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мол- тался где-то по улицам сломя голову и высуня язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большой частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальней- шей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в ру- ках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут со- ставлять как бы отдельную маленькую, но уютную квартиру.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказыва- ли, куда лучше поставить кровать и куда поставить стол, и где рас- положить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить ту- алетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство, — сказал Былинкин, — ставить ту- алетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу го- раздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его лег- кой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство, — сказала Лизочка, едва не пла- ча. — Да, к тому же, комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос и ответ.

— Ерунда, — сказал Былинкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей, — строго сказала Лизочка. — Поговори просто как с родной матерью. Скажи, дескать, дайте, ма- менька, комод.

— Ерунда, — сказал Былинкин. — Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела встать и понять, в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша, — строго сказал Былинкин. — Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей, на старости лет, обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин. — Жалко вам комода. А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха. — Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием. — Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пуцай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более, что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а, — сказал Мишка. — Небось, гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук, и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая, по временам, перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло.

Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение

об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебежала от одного к другому, упрямивая их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она и без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже, ради любезности, предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и, тем не менее, не представляет мамаше никаких счетов. На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые, к тому же, на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывать в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все делал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод или случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо...

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом. Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, — скажет, — а где же соловей? Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать с начала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет вспомнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше.

Да, читатель, скорей бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем!..

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем, согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Тогда можно и под трамвай.

1925

## Аристократка

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка. Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?

— Да, — отвечает, — действуют.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мне — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сажу на верхотурьи и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походной к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан, и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, — говорю, — гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорит, — я докушаю.

И докушал, сволочь. За мой-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездят с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

## Нервные люди

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа всегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провалился совсем, не разжигается.

Она думает: „С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провалился совсем!“

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли на кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по хारे смазать — троих кроешь. И, конечно дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пушай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

„Вот-те, — думают, — клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?“

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаври-

лыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописал ижицу.

## Качество продукции

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил.

Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски — ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну, прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского, и для дамского обихода.

Все это в кучу было свалено в углу, у рукойойника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечное дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи, действительно, были, хотя и ношенные и, вообще говоря, чуть держались, однако, слов нет — настоящий заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пушай это будет пудра. Пушай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев, действительно, поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, — говорит, — лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот, наконец, дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю, — сказал он. — Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это, действительно, не переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я и гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь и хоть бы

одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже целные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром, что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это, действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

## Забавное приключение

Жена одного служащего, довольно молодая и очень интересная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, влюбилась в одного актера.

Он был артист драмы и комедии. И вот она в него влюбилась.

Или она увидела его на подмостках сцены, и он покорила ее великолепной игрой, или, наоборот, она игры его не видела, а он, может, просто понравился ей своей артистической внешностью, но только, в общем, она в него порядочно сильно влюбилась. И даже она одно время не знала, как ей поступить: уйти ли ей от мужа и перейти к артисту, или от мужа ей не уходить, а просто увлечься актером, не перестраивая своей жизни.

Но потом, увидев, что актер драмы вроде как ничего не имеет — ни положения, ничего такого особенного, — решила от мужа не уходить. Тем более, что артист и сам не горел желанием на ней жениться, будучи уже человеком, обремененным многочисленной семьей.

Но поскольку они были влюблены друг в друга, они все же стали встречаться по временам.

И он ей звонил по телефону, и она к нему забегала на репетицию, чтоб посмотреть, как он бойко играет роли. И через это она в него еще сильнее влюбилась и мечтала с ним почаще встречаться.

Но поскольку им, собственно, негде было встречаться, то они, буквально как Ромео и Джульетта, стали встречаться на улице или в кино или забегали в кафе, чтобы перекинуться нежными словами.

Но такие короткие встречи их, конечно, мало удовлетворяли, и они постоянно горевали, что их жизнь неблагоприятно складывается и им даже негде поговорить о своей безумной любви.

А к нему она, конечно, не могла заходить, поскольку артист был семейный человек.

А что касается, если к ней зайти, то она нередко его приглашала, когда ее супруг был в учреждении. Но он, зайдя пару раз, категорически от этого отказался.

Как человек нервный, одаренный, кроме того, болезненным художественным воображением, он попросту пугался находиться у нее, думая, что вот, мало ли, сейчас войдет муж и начнутся, может быть, крупные разговоры со стрельбой и так далее.

И в силу таких мыслей артист находился у нее в гостях, так сказать, в ненормальном состоянии и, вообще, полумертвый от страха.

И тогда она, конечно, перестала его приглашать к себе, поскольку видит, что человек ну просто душевно болеет и делается как бы не от мира сего.

И вот однажды она ему говорит:

— Тогда — вот что! Если хотите со мной повидаться, то приходите в следующий выходной день к моей подруге.

Артист драмы говорит:

— Вот и великолепно! А то, знаете, моя профессия требует утонченных нервов, и я, — говорит, — не могу не робеть, находясь у вас.

А у нее была ближайшая подруга Сонечка. Очень миленькая особа, не без образования. Кажется, из балетных.

И муж нашей дамы вполне одобрял это знакомство, говоря, что лучшей подруги для жены он себе и не желает.

И вот наша балетная после горячих просьб разрешила своей подруге повидаться у нее для переговоров с любимым человеком.

И вот утром в выходной день наш артист, получше принарядившись, попорол на это свидание.

А надо сказать, что в трамвае у него случился небольшой эпизод и столкновение с соседом. Ну, вообще, легкая перебранка, крики и так далее. В результате чего наш артист, как человек несдержанный немного более, чем следует, погорячился. И когда сосед после перебранки сошел с трамвая, наш артист, не утерпев, плюнул в него. И был очень рад, что трамвай быстро пошел, и оскорбленный сосед не мог уже догнать его, как того хотел.

Однако от этого столкновения настроение нашего артиста не испортилось. Он встретился со своей симпатией, и они совместно пошли к подруге, которая проживала в коммунальной квартире, в небольшой, но уютной комнате, ключ от которой находился теперь в их руках.

И вот они зашли в комнату, присели на диван, чтоб поговорить о своей дальнейшей жизни, но вдруг в дверь кто-то постучал.

Молодая дама сделала артисту знак не отзываться, но артист и без того замер в безмолвии.

Вдруг за дверью раздается голос:

— Скажите, а скоро она вернется?

Наша дама, услышав голос, страшно побледнела и шепотом сказала актеру, что это голос ее мужа. И что муж, должно быть, увидел их на улице и вот он теперь их выследил.

Артист драмы, услышав о подобном камуфлете, просто даже затрясся и задрожал и, затаив дыхание, прилег на диван, с тоской глядя на свою симпатию.

А голос за дверью говорит:

— Тогда я напишу записку. Скажите, что я заходил.

И вот муж нашей дамы (а это был действительно он), написав записку, подsunул ее под дверь и сам пошел к выходу.

Наша дама, очень удивившись, моментально схватила эту записку и стала читать ее. После чего начала громко рыдать, вопить и падать на диван.

Артист драмы, немного придя в себя от звуков дамского голоса, тоже не без удивления зачитал эту записку, в которой говорилось:

„Крошка Сонечка! Я случайно освободился раньше и заскочил к тебе, но — увы! — не застал. Зайду в три. Крепко целую. Николай”.

Наша дама сквозь слезы и рыдания говорит артисту:

— Что бы это значило? Как вы думаете?

Артист говорит:

— Скорее всего, ваш муж увлекается вашей подругой. И он зашел сюда не иначе, как отдохнуть от своей семейной жизни. Теперь ваша совесть должна быть спокойна, — позвольте вашу ручку.

И только он хотел преподнести ее ручку к своим шершавым губам, как раздается неистовый стук в дверь. И за дверью слышится тревожный голос подружки:

— Ах, откройте поскорее! Это я пришла. Не заходил ли кто-нибудь без меня?

Услышав эти слова, наша дама моментально разразилась рыданиями и, открыв дверь, с плачем подала подружке оставленную записочку.

Та, прочитав записку, немного смутившись, сказала:

— В этом нет ничего удивительного. А раз вы все знаете, то я скрываться не буду. В общем, я прошу вас моментально уйти, поскольку ко мне должны кое-кто зайти.

Наша дама говорит:

— То есть как кое-кто? Из записки видно, что к тебе сейчас мой муж зайдет. Хорошенькое дело! — уйти в такую минуту. Да я, может, желаю посмотреть, как этот подлец переступит порог этого вертепа.

Молодой человек, у которого попросту испортилось настроение от всех этих передраг, хотел было уйти от греха, но наша дама в пылу раздражения не велела ему уходить.

Она сказала:

— Вот сейчас явится мой муж, и тогда мы разрубим этот запутанный узел.

Услышав слова, близкие к лексикону военной жизни, артист, найдя шапку, стал уже более энергично прощаться и уходить. Но тут между подругами произошла перебранка и спор относительно его самого — надо ли ему уходить.

Сначала обе подружки хотели его оставить до прихода мужа, как вещественное доказательство. Первая — чтоб показать мужу, что за птица ее подруга, допустившая их в свою комнату, вторая — чтоб показать, какова его жена.

Но после этого мысли у них переменялись. Подруга вдруг не захотела себя компрометировать, а жена не пожелала упасть в глазах мужа. И, на этом сговорившись, они велели нашему артисту моментально поскорей уйти.

И только этот последний, довольный таким оборотом, стал прощаться, как вдруг снова раздался стук в дверь. И голос мужа произнес:

— Дорогая Соня, это я! Откройте!

Тут произошла некоторая паника и замешательство в комнате.

Артист драмы моментально поник духом и, находясь в страшной тоске, хотел было прилечь на диван, чтоб притвориться больным или умирающим, но вовремя подумал, что как раз в подобном горизонтальном положении по нем и могут скорей всего открыть огонь как по легкомысленно лежащему на диване.

И в силу этого он стал мотаться по комнате, задевая за все ногами и производя страшный шум и грохот.

Пришедший муж, находясь за дверью, крайне удивился задержке и грохоту и начал уже более энергично колотить в дверь, думая, что в комнате происходит что-то особенное.

Тогда подруга говорит артисту:

— Вот эта дверь ведет в комнату моего соседа. Я вам сейчас ее открою. Пройдите туда и оттуда дверь в коридор и на лестницу. Горячий привет!

И сама поскорей открывает крючок на двери и велит артисту по-

скорее уйти, тем более что пришедший муж, услышав в комнате шум, стал срывать дверь с петель, чтоб войти в комнату. Тогда наш артист пулей вбежал в соседнюю комнату и хотел было уйти в коридор, как вдруг заметил, что дверь в коридор была заперта с той стороны, по-видимому, на висячий замок.

Артист бросился было назад, чтоб сказать двум дамам о том, что он в критическом положении — дверь закрыта, и ему не пройти. Однако уже было поздно.

В эту комнату был впущен муж, и там поднялся разговор, при котором появление артиста было бы крайне нежелательным.

Тогда артист, как человек неуравновешенный, моментально ослаб от множества событий и, почувствовав крайний физический упадок и головокружение, прилег на кровать, полагая, что он тут в полной безопасности.

И вот он лежит себе на кровати и думает разные отчаянные мысли — о том, о сем и, в частности, о вздорности любовных порывов. И вдруг слышит, как кто-то гремит замком в коридоре. Кто-то такое, одним словом, возится около двери и, должно быть, сейчас войдет в комнату.

И вдруг дверь действительно открывается, и на пороге показывается человек с корзинкой пирожных и с бутылкой вина.

Увидев человека, лежащего на его кровати, пришедший раскрывает рот от удивления и, мало чего понимая, хочет захлопнуть за собой дверь.

Артист начинает извиняться и лепетать разные слова, и вдруг он с ужасом видит, что вошедший хозяин комнаты есть не кто иной, как тот человек, с которым он утром побранился и в которого он плюнул с площадки трамвая.

Не рассчитывая унести ноги, наш артист снова, как малолетний ребенок, ложится на кровать, думая, что это в крайнем случае только сон, который сейчас пройдет, и тогда наступит великолепная жизнь, без всяких особых неприятностей и передрыг.

Вошедший, у которого удивление пересилило гнев, говорит жалобным голосом:

— Да что ж это такое, господа? Ко мне сейчас знакомая придет, а тут, глядите, какое-то мурло расположилось в моей комнате. Как же он в нее вошел? через запертую дверь?

Артист, видя, что ему рук не ломают и его не бьют по сопатке, говорит с душевным подъемом:

— Ах, пардон! Я сию минуту уйду. Я только на секундочку прилегу отдохнуть... Я не знал, что это ваша кровать... У меня голова закружилась от множества событий...

Тут хозяин комнаты, у которого гнев снова пересилил удивление, стал кричать:

— Но это безобразие! Он, глядите, вперся с ногами на мою кровать. Да я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться. Это что за новости! Какой подлец!

И он подбегает к артисту, хватая его за плечи и буквально вытряхивает с кровати. И вдруг замечает, что личность артиста уже ему знакома по утреннему происшествию.

Тут наступает небольшая пауза.

Хозяин, мало чего понимая, говорит:

— Ах, вот когда ты мне попался, рыбий глаз!

И хочет его схватить за горло.

Но в это время раздается нежный стук в дверь. Хозяин говорит:

— Ну, скажи спасибо, что ко мне дама сейчас пришла, которую я жду. А то бы я из тебя сейчас размазню сделал.

И взяв артиста за воротник, тащит его к дверям, чтоб выпихнуть его в коридор, как тряпку, на что артист вполне соглашается и даже доволен.

Но вдруг открывается дверь, и на пороге комнаты появляется довольно интересная дама, которая пришла в гости к хозяину и явилась в некотором роде как бы спасительницей нашего пресловутого артиста.

Однако наш артист при виде дамы просто попятился назад от изумления и даже закачался, поскольку эта вошедшая дама была его супруга.

И в смысле совпадения это было действительно нечто поразительное.

Тут наш артист, крайне молчаливый за последние два часа, начал просто орать и буянить, требуя от жены объяснений, что значит это таинственное посещение.

Жена начала плакать и рыдать и говорить, что это ее сослуживец и что она действительно иногда к нему заходит попить чаю с пирожными.

Сконфуженный сослуживец сказал, что теперь, поскольку они квиты, они могли бы помириться и втроем выпить чаю. На что актер разразился такой неистовой бранью и криками, что жена впала в истерику. А ее сослуживец снова полез драться, почувствовав оскорбление за плевков.

И тогда все соседи прибежали поглядеть, что у них тут делается.

Среди присутствующих оказались также наша дама с мужем и с подругой.

Узнав все, что произошло, все шестеро, собравшись в комнате, стали совещаться, что же им делать.

Которая из балетных так говорит своей подруге:

— Очень просто! Я выхожу замуж за Николая. Артист женится на тебе, а эти двое сослуживцев тоже составят вполне счастливую пару, служащую в одном учреждении. Вот как нам надо сделать.

Сослуживец, к которому пришла жена артиста, говорит:

— Здравствуйте, пожалуйста! У ней, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка.

Артист драмы говорит:

— Я прошу не оскорблять моей жены. Тем более, что я не намерен выдавать ее за первого встречного.

Жена артиста говорит:

— Да я бы к нему и не переехала. Глядите, какая у него комната! Разве я могу вчетвером, с детьми, тут находиться?

Сослуживец говорит:

Да я тебя с детьми на пушечный выстрел к этой комнате не подпущу. Имеет такого подлеца мужа, да еще вдобавок мою комнату хочет отобрать. Вижу — уже лежит один на моей кровати.

Сонечка из балетных примиряюще говорит:

— Тогда давайте так: я выйду за Николая, артист с супругой так и останутся, как были, а на жене Николая мы женим этого дурака сослуживца.

Сослуживец говорит:

— Здравствуйте! Еще не легче. Вот я сейчас с ней запишусь. Держите карман шире! Да я в первый раз вижу эту облезлую фигуру. К тому же, может, она карманная воровка?!

Артист говорит:

— Просьба не оскорблять наших дам. Я считаю, что это правильный выход.

Наша дама говорит:

— Ну, нет, знаете. Я не намерена из своей квартиры никуда выезжать. У нас три комнаты и ванна. И не собираюсь болтаться по коммуналкам.

Сонечка говорит:

— Из-за трех негодяев у нас все пары распадаются, — так было бы славно. Я за Николая, эта за этого. А эти так.

Тут между дам началась грубая перебранка и счеты о том, о сем. После чего мужчины, скрепя сердце, решили, что все должно идти по-прежнему. На этом они и разошлись.

Однако совершенно по-прежнему не пошло. Сонечка вскоре вышла замуж за своего соседа, сослуживца жены артиста. И к ней по временам стал приходить в гости наш артист, который ей понравился благодаря своему мягкому, беззащитному характеру.

А наша дама, разочаровавшись в обывательском характере артиста, влюбилась в одного физиолога. А что касается Николая, то у него, кажется, сейчас романов нет, и он всецело погружен в работу, но с Сонечкой он, впрочем, иногда встречается, и в выходные дни он нередко ездит с ней за город.

1935

**Андрей Платонов**  
(1899 — 1951)



## Впрок

*(Бедняцкая хроника)*

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца, и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что он сделан из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма, и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью, выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему

громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника, как самого себя („я”), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время — бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелкоимущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынную страну, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постой бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили материалы по губительной немощной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благотельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то ку-

сочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе, — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком, — произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, — враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил, — предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам ради Бога, — отказался старичок.

— Пей, — говорит, — пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скушал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок. — Семашка не велел больше желчное семя разводить, что-бы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну, здравствуй, — обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе до-рог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне ехать некуда, — где понадобится, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажжем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я ду-мал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболел живот. По сте-нам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда; плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. — Когда ж ты тронешься? Уж третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил на это оседлый пассажир. — чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю, — наемдни ты за-

снул, а я депешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Стат мне не нужен, — отказался пассажир. — С документами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, потому что обо мне ничего не известно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров, остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь, как стервец; теперь у меня будет забота о тебе.

С этим мы вышли на полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: „С.-х. коллектив „Доброе начало“”. Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, все имущественное оборудование было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, шупали разные предметы, подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил.

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васък, ты бы сбегай лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жрут который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? чего зря колхозные ноги бить?

— Ну — так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленное, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане, — сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржавы и терния. — Граждане, вчерашний день Серега опять цыгарки с огнем швырял куда попало. Сообщая это, а то будет пожар!

— Бреешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега, — я их заплывывал.

— Заплывывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. — Ты сам ходишь олеонафтом наземь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь същел. Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай, — колхозу капля не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржавы боюсь, товарищ Кондров, — ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, — объяснил смазчику Кондров, — олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его трастишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну?! — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт это просто себе густая жидкость.

— Петька, — сказал малому лысый мужичок, тот, что услал Ваську к лошадям. — Пойди, ради Бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он, — впоследствии войду — он сопит на меня и глазами моргает, а кругом норма — скотину нечем поласкать, вот и положил твоё сено.

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятия.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незаesyнной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять-двенадцать. Наверху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком на сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать, — ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пош-

венного на наливное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по раkitам, по плетням, по стенам изб и, отвлекаясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные уголья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стовечевых полуваттных ламп, т. е. общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало, — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу, пушу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил, — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчей и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распусят, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в Бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать Бога, как веру, если огонь вспыхнет на каланче. Он тогда в электричество, как в Бога, обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не брешь!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!..

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно! — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился, — сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — интересовался я.

— Нам оно впрок: ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

„Устав для действия электросолнца в колхозе „Доброе начало“:

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы, колхозное солнце выключается; при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культуры колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, который развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроенных колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам, и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!”

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смещен новый человек, как Робинзон для обезьяны;

нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он, — сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же, на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту осязку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению с Кондровым, мы сделали полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жезь какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно и приемлемо для дела: если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жезь будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или мало известном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчой мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки пошвенного водобойного колеса на наливное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в изба-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того как назваться колхозом „Доброе начало“, деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешевизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

– Главное, чтобы государство меня не услышало, – соображал он. – Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит, можно. Как бы только Осоавиахим не встрял: да нет, его дело аэропланы!

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин – для ускорения кончины лошади – перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

– Кончайся, – приказывал коню Верещагин. – А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще

билося сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтоб государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а там еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками, — она начала отрывать от омертвевших лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагиных целая стая чужих собак и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна Божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак о всем твоим способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета „Беднота” пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель, — сказал Верещагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну, ничего, ты теперь на-ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппорту!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Спортун всегда кричит за, когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние бартаки — Серега, смазчик, и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был, — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом, от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде „даешь сплошь в десятидневку” и т. п. — Он желает прославиться, как автор какой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это мерно и революционно! — сообщал он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — а как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщать! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег, или сразу приняться за строительство солнца, но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку...

И тут Кондров обернул „Правдой” кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, любовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинающуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено „Доброе начало”, но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнушую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет; поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним за ним вслед по дороге, ведущей дальше от „Доброго начала”. Иногда я оглядывался назад, ожидая света колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он борец с неглавной опасностью и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на „Доброе начало“.

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди, — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того, я слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых район! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крушить надо вдосталь, — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дали: эх, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я осмотрел говорящего человека. Лета его были еще не старые, зато лицо и тело, видимо, уже истратились в окружных дискуссиях, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях, и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь, — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли дальше. По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовки, расположенной, действи-

тельно, по низу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой в низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынные.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижка открытых водоемов, которой утоляют жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл, как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья; иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет. И здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевше-

го всякую бюрократическую сложность обращать в понятную простоту истины.

— Что же вы ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожно-го товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали на встречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлечший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарачной и едоцкой.

Глубоко озадачившись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого или настолько отстали, что откажутся от своевременной пищи?

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну, конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья... Вот она — левая бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже. По его выходило, что скоро людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуны

Спустя немного времени, окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого караса и правую щуку, — объяснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс...

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу?! Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно — правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня; я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго; два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взяли меня подвезти до ближнего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилося, словно в камеры цилиндров попало металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз, — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам одну машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем образили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, и темнело уже.

Я пошел на хутор. В лошине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым, и всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно,

что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел за лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы, посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала как паровой котел — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит, — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумацких телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девицы бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его?!.. — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — объяснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норволю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделаться вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает, — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают сразу — и в ладоши и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозвищу Принцип; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Это что? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей запотевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

„Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!” — читал Григорий.

— К ногтю! — решали слушатели про того шпиона.

„В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел”.

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

„Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза”.

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

„Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом”.

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают, и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сту лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Димитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — не к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не останавливаются никогда и он заставляет машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко. — Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капиталистические слабосильные марки! Нам годятся машины в двести сил, чтоб она катилась

на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель, либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз „Без кулака”, — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. — А еще далее у тебя будет 2-е Отрядное, там тоже знают меня, и ты кланяйся кому-нибудь.

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

— 48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, 1 прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз „Без кулака” существует с августа 1929 г., причем в 1928 г. при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара; по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что засеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложных бедняцко-средняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванию Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверно, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет, еще ни трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе нет: в нас нет вопроса.

— А отчего же мужики больше сеять начали?

— А для чего ж они колхоз организовали — для бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос, — я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему, все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием,

стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно и так быть не может! Так думает безумный или ненавистный.

— И я так думаю иногда.

— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство или хотя бы нашу классовость, у того и ум, а без чувства — остаются одни вопросы и злоба.

Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным от какого-то равномерного делового уныния человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.

В этой деревне около четверти населения была в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать. Работал Кучум непостижимо, я больше никогда не видал такого колхозного организатора.

Однажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, так как давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их неусердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете в колхозе легко вам будет?

— Да, может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали, — угрюмо объяснил Кучум. — В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили в колхоз писаться по одиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщиной на лбу, вьезшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего, — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал, — уныло недоуменно ставит вопрос Кучум. — Другую морщину нажать на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нуж-

но. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда при-  
дешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников-крестьян чувствовало другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий, — объяснил мне многократно не принятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручательств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их в начале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной. Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренно отвечал Кучум. — Это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз — советская власть и без хлеба жила — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну!? — пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая, — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз „Без кулака”.

И действительно Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гуши, работой от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще, вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал „принял”, но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы, вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгоды общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозвищу Пулс,

хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и, выпивши, ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,  
Вольно жить, не тужить.  
Выпьешь бутылку-другую кваску  
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние колхоза. Каждый личный хозяин норовил сутелиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним уголкам с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила корову. — Ты бы хвостяную конечность к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что в колхозе люди спали с воздушным сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались вкусней и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скустовать своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога, — сооб-

щал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью.

— Я же вам говорю, чтоб вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит в срезек, на одном уровне.

Кучум посчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например, во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с неземельными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки) и люди старше 20 лет.

При этом молодое поколение (до 20 лет) разбивалось еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15-20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница; например: младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Для членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: „весь доход колхоза „Без кулака”, за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценочек каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, то есть не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства”.

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15-20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия молодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые 10 дней. Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общий же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше 20 лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девушки были парижанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательно правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семязерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и

так далее. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

„Мы ему, черту, покажем, кто мы такие!“ — ожесточаясь для невероятного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать, как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного материала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что ж они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам Господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем: правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирющая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потеряв самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного

отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходится ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, а он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие Бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтоб она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно Рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушающий удар в скулу, — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в измощающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма, и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег, и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Упо-

евым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упове: „Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, — большевиком ты состоять не годишься: большевики люди проворные”.

Но Упове не верил ни кулаку, ни событию, — он был неустойчив в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Уповеа постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Уповеа, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали:

— Упове, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой, — то Упове глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир:

— Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме нищих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Уповеа, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упове лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Упове заметил в своем сновидении Ленина, и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: „Чего надо?”

— О Ленине тоскую, — отвечал Упове, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Уповеа допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упове, увидев Ленина, закричал зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упове, стараясь

быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упов договаривал только до этого места, а дальше плакал и стоял от тоски по скончавшемся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, — через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упов взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Упов, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упов стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упов бил себя по животу и кричал:

„Исчезни, стихия!“

Однако не всегда Упов мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упов сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но не спавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты, действительно, сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался?

— Тебе хорошо говорить, — сказал Уповев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Уповева нравоучительным взлядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призора не покинул!

— Пожалуй, что и верно, — согласился Уповев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Уповев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со всей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин, действительно, позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Уповев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Уповева.

В общем же Уповев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, — так как прочел в газете лозунг: „Дашь крапиву на фронт социалистического строительства!“ — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Уповев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угольям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Уповева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Уповев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Уповев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего умения. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки, действительно, из страха или сознания, — не могу сказать точно, от чего, — перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом по-

каза образца Уповев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, — для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Уповев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вдоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Уповев считал своей горницей все колхозное село и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волнения, чем слов, и призывали к прекрасной обобщенной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с годами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Уповеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый, шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями, — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем, как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Уповев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрасивал ее Уповев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Уповев, дай я тебе куплет спую! — предложил один юноша из рядов колхоза...

— Ну, спой, сукин сын! — согласился Уповев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевым тоном:

Эх, любят девки, как одна,  
Любят Ваньку — пер..на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Уповев, и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Уповев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Уповев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал, и сказал только, что, наверно, в самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — попытывался Уповев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Уповев, это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю, — размышлял Уповев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьянам хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А — может быть! — радостно удивился Уповев. — Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтоб мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.

— Как так отгрызли? — Что ж мне больно не было?

— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?

— Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации, или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы спать. Но после полуночи Уповев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Уповев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажь документы!

Документов я с собой не носил. Однако Уповев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.

— Перегибщик иль головокруженец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Уповев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело, — сказал я. — А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шел молча, ничего не понимая... Уповев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

Мы попрощались.

— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Уповев. Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Уповева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.

Но Уповев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди его, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Уповева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть; я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном шетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии, — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди его

сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего Бога и небо, знали здесь довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал Бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в Бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше. — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в Бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что Бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов. — Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараю.

— Чего ж тебе караулить: Бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедывать отсутствие Бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в Бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж! — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Карл Маркс предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключил Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в Бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже Бога! Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию, — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную совесть перед массами; и тщательно старался объяснить религию, как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог,

правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка: в колхозы он, небось, ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом и даже ТОЗ'а в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особенно искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многолюдной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уже давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин. Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, — только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал в избу-читальню, узнав за весь день лишь одно, что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: „уставная“, „классово-отборочная“, „инвентарная“, „ликвидационно-кулацкая“ и наконец — „разъяснительно-добровольческая“.

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что тако-

го большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем „разъяснительно-добровольческой” комиссии — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удастся? — спросил я.

— Как вам сказать? — Конечно, зная массовой разъяснительной работы мы держим высоко, — но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились организовать, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинках. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это ж твоё рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять! — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем, — чувствуем, что нашему брату жить там барьш!

— Барьш — рвачество, а не сознание, — ответил председатель. — Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток.

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма на-

селения деревни (около 5%) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в Бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, — тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные беднячки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-средняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до неимоверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачки.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо тов. Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

„Тов. Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе заехать прежде в районную власть и, узнав — нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, — прибить сюда для ликвидации бюрократического очага”.

Один бедняк взялся свезти письмо тов. Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел с спокойной за колхозы душой. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще, — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уй-

ти сегодня подальше, минуя малые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью:

„С.-х. артель имени Награжденных героев, учрежденная в 1923 г.“. Здесь, наверно, общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня как служебное лицо зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса „На командных высотах“, содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, т. е. чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет, как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы разглядеть, но со мной на колодце

работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех других артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели „Награжденных героев” бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего ж они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были, — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопили бугор имущества, а класс оставили в покое...

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что, действительно, иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, т. е. — не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели тов. Мчалов пришел на нашу работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел на голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты, как колодезь исправишь, так

уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле; потом все те же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна, и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком среди довольно просторного, если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближайших деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние 4 года артель приняла в новые члены только 10 человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих 10 обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевицкого ветра, пятеро же составляли в артели настоящую большевицкую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я и был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевицкого правления артели, кото-

рое и должно сменить бывших героев, а нынешних ханжей и сладко-ежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем дяляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханжеское соблюдение принципа добровольности (по существу же, развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих „героев“?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда это ханжеско-дяляческая артель станет большевицкой. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодиям, вместо сухого рачительства — ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных члена артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня.

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас она мертвая пробка.

— Наверное, наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе, — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом было установлено еще до прибытия тов. Скрынко, что артель „Награжденных героев” была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подкулачницами и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник Пасхи я вошел в небольшой колхоз „Сильный поток” и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управился войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, или просто петух ходил отдельно от кур, — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни,

куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба, — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять на первый день Пасхи, дабы вместо Воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне Пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался „музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса”.

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгом, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а, наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же непонятна наша радость? Оттого, что Филат был самый гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде, — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам что-нибудь, — теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достается...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье, — грудь не выдержит.

— Ничего: обтерпиться! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустил на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника.

— Значит есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой, — ты видишь — солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили — и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтоб они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза „Сильный поток” я встретил железнодорожную насыпь и, пройдя вдоль ее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал настолько далеко, что сошел с поезда уже в Острогжском округе, на родине ценнейшей во всем СССР Михновской овцы. Однако Острогжский округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того, что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогжского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фацилезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних

лет до 40.000 пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму, за округлением, 500.000 рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения, опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30.000 гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также будет разрешена проблема разведения Михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях, в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболочивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть великое народно-хозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство, — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 83 квадратных километ-

ра. Примерно треть всего объема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, т. е. чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а пловучий экскаватор, — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся наносы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52% исполнительных сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, т. е. ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хрзяйство, тем более создать из болота луга одним напряжением единоличного хозяйства, нельзя, — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные товарищества, т. е. в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и по сейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины Михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню „Утро человечества“, прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

„Все м угнетенным народам — на долгие времена“. Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр.

— Кадр.

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем я тебя яичницей покормлю. А я, знаешь, кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гоюсь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получилось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличниках; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну, а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Отвечь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?

Второй проверочный вопрос Пашки был из другой области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! — Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?..

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот говорят, что можно сделать две палки, равные друг другу. Чушь!! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставяйся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтоб

нам догнать, перегнать и не умориться. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль-форд, годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР самая передняя по революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в „Утре человечества”, я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку, как великого человека, выросшего из мелкого дурака, — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы, — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, — поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные уголья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. — Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежащих ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит — ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сглохнет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом произносил Стефан Еремеевич. — Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что: Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы:

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведывать кооперативом. Пашка увидел товары и пожелал их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно побереечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более, что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы

справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество...

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы зогдя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и донныне Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза, — настолько в нем увеличилось количество ума, благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмушью бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирается поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе „Утро человечества” очень долго; я был свидетелем ярового сева на 140% от плана и участником трех строительных — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощанье и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

## Котлован

В день тридцатилетия личной жизни Вошеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вошев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях и скучно лежала пыль на безлюдной дороге, — в природе было такое положение. Вошев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался, — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вошев добрался до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вошеву стало груше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вошев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно, в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающая музыка уносилась ветром в природу через приовражную

пустошь, ...потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Воцев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении. — Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Воцев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюбочка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Воцев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Воцев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Воцевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни: кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Воцев опустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Воцев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире, — или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Воцева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Воцев с сожалением открыл наливающиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Воцев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что же ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Воцев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Воцев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы надо иметь уважение к людям, а Воцев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею.

— Тебе, Воцев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь — ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Воцев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать донныне неприютные массы. Тело Воцева было равнодушно к удобству, он мог жить, не изнемогая, в открытом месте, и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Воцев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Воцева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Воцев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем, чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. „Их тело сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей Воцев, — сущности они не чувствуют“.

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вошев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — для вас лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злобной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. — Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вошев стоял среди пути, не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близко, — ответил надзиратель, — если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка, — сказал Вошев, — когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вошев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вошев, истомившись размышлением, лег в пыльные проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер и где-то кричали петухи на деревне, — все предавалось безответному существованию, один Вошев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вошева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вошев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вошев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить”.

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Вошев близ дороги и встал, чтобы идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство, и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вошев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдальеке, дымилась его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей и в ней во время прохода

Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Мишь, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад:

— Мишь, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров, с уставшей музыкой впереди.

— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кiset:

— Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ноги — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато имел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупно отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку голодного похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выраженья. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и в достоинстве своей строгой свободы обозначали на детских лицах важную радость, заменявшую им красоту и домашнюю упитанность.

Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, зна-

ют и чувствуют больше его, потому что дети, это — время, созревающее в свежем теле, а он, Воцев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Воцев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Воцеве и калеке. Воцев поглядел на инвалида: у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Воцев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека досмотрел до конца пионерское шествие, и Воцев побоялся за целостность и непорочность маленьких детей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал он инвалиду. — Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик, — произнес безногий.

Воцев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека. — Получить от меня захотел?

— Нет, — ответил Воцев. — Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил большую голову к земле.

— Чего ж я скажу ребенку, стервец? Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, — тихо проговорил Воцев. — Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Воцева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Стариксы такие бывают; а вот калечных таких, как ты — нету.

— Я на войне настоящей не был, — сказал Воцев. — Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! — Когда мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всегда заметно!

— Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: Да здравствует 1-е мая!

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вошев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Вошев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было на свете неясно и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было и ничто ничему не препятствовало качаться. Как заочно живущий, Вошев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горящего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянувший запах сена приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы, в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вошев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Вошев. — Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Вошев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Вошев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полночи дошел до Вошева и определил ему встать и уйти с площади.

— Чего тебе! — неохотно говорил Вошев. — Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному дому. — Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Вошев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил досчатый са-

рай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца, — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Воцев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Воцев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, — и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Воцеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужое слово, не открывая глаз.

— Он слаб!

— Он несознательный.

— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.

— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.

— Видя по его телу, класс его бедный.

Воцев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от изнеможения слабо росла борода.

— Я здесь не существую, — произнес Воцев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного. — Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, — я задумывался на производстве и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Воцева; их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде. — Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверно, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Воцев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от изнемождения слабо росла борода.

В это время открылся дверной вход, и Воцев увидел ночного косяря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака; время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда.

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косярь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу, как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели изнеможение. Воцев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, — достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

— Иди с нами кушать! — позвали Воцева евские люди.

Воцев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

— Что же ты такой скудный? — спросили у него.

— Так, — ответил Воцев. — Я теперь тоже хочу работать над существованием.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящуюся душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему, после питания, что, пожалуй, и Воцев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозьяственных бедняков и образовать из них постоян-

ных тружеников, но редко кого приводит — весь народ занят жизнью и трудом.

Вошев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.

— Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

— Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.

— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значенья жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вошева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Вошеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, — и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, и

малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух ново-строющихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу, музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

— Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем — чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

— Товарищ Сафронов! Это окпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья, — тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за те...

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафронов. — Что мы — или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный. — У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я значит переугожденец?

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, — и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на груд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер — не старый, не седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом, — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду подавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, — он был мертв и пустынен. Но

человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Вошев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Вошеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован — и показал на вбитые кольшки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом — он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовой труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.

— Мало рук, — сказал Чиклин инженеру, — это измор, а не работа — время всю пользу съест.

— Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто, — ответил инженер. — Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я: вы — ведущая бригада.

— Мы вести не будем, а будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.

И сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Вошев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость делается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинки, корешки и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздня старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было, — его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе и его любили девушки — из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было предано всем. В Чиклине тогда многие нуждались, как в укрытие и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или во-

все уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.

К полудню усердие Вощева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял, вынуждая из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

— Козлов! — крикнул ему Сафронов. — Тебе опять не можется?

— Опять, — ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

— Наснаждаешься много, — произнес Сафронов. — Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.

— За что он тебя? — спросил Вощев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

— Они говорят, — ответил он, — что у меня женщины нету, — с трудом обиды сказал Козлов, — что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорят, все знают!

Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавшийся в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове, — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

— Сафронов, — сказал Вощев, ослабев терпеньем, — лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумай, — не отвлекаясь, сообщил Сафронов. — У тебя не будет памяти, и ты станешь вроде Козлова, думать сам себя, как животное.

— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спереди. — Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

— Козлов, ложись вниз лицом — отдышись! — сказал Чиклин. — Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть

связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов, и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам – его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поперх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной ко-сарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные неперменные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

– В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня – суббота: вам уже пора кончать.

– Как так кончать? – спросил Чиклин. – Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать не к чему.

– А надо кончать, – возразил производитель работ. – Вы уже работаете больше шести часов и есть закон.

– Тот закон для одних усталых элементов, – воспрепятствовал Чиклин, – а у меня еще малость сил осталось до сна. Кто как думает? – спросил он у всех.

– До вечера долго, – сообщил Сафронов, – чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

– Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, – сказал Вошев.

– Что! – произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

– Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

– А то что ж: ступай, почерти и посчитай! – согласился Чиклин. – Все равно земля ископана, кругом скучно – отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприятная вода, и он, мальчик, не знал, куда

ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака и во всей России теперь моют полы под праздник социализма, — наслаждаться как-то еще рано и не к чему; лучше сесть, задуматься и чертить, и чертить части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость и ум его увеличился.

— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят, — сообщил Козлов. — Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

— Козлов, ты скот! — определил Сафронов. — На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов. — А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрет, — теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!

Вощев заволновался от дружбы к Козлову.

— Грусть это ничего, товарищ Козлов, — сказал он, — это значит наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим наруже птицам.

Чиклин, не зная ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь силой.

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк; он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащит-

ных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете и кто тогда будет людьми?

Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и — точно грусть — стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни за что не отлучаясь взглядом и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там ничего нет, кроме мертвого строительного материала и усталых, недумających людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом, вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелко-имущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики, в смысле искусства и целесообразности, следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды думой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человеке? А если производство улучшить до точной экономии, — то будут ли происходить из него косвенные, неожиданные продукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его осязающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто, — вся насыщенная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру — флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно, счетовод с вечерних занятий, или просто человек, которому скучно спать.

Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался:

— Либо мне погибнуть?

Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды, ему осталось лишь терпение, и где-то за чередой ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату.

— Лучше я умру, — подумал Прушевский. — Мною пользуются,

но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.

И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополуночи и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов.

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Из всех мастеровых его знал только Козлов, благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел.

„Ну, что ж, говорил он обычно во время трудности: все равно счастье наступит исторически“. И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству.

— Темп тих, — произнес он мастеровым. — Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.

— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся, — сказал Козлов.

— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!

Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек — скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства.

Пашкин глянул в даль — в равнины и овраги; где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводится разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех все выдумать и сделать вручную вещь долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся.

— Я вам, товарищи, определяю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы, — сказал Пашкин.

— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов. — Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам.

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими

глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:

— Товарищ Пашкин, вон у нас Воцев зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад.

— Не вижу здесь никакого конфликта, — в пролетариате сейчас убыток, — дал заключение Пашкин и оставил Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, — чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты, с целью организационных достижений.

До самого полудня время шло благополучно; никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Воцев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить.

После полудня Козлов уже не мог надышаться, — он старался вздыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу.

— Расстроился? — спросил его Сафронов. — Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыслишь отстало.

Чиклин без спуска и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения; он не знал, для чего ему жить иначе — еще вором станешь или тронешь революцию.

— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов. — Не переживет он социализма — какой-то функции в нем не хватает!

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился: он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминания — больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверая свой ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и врезать глубину в водоупор.

— Козлов пускай поболел, — сказал Чиклин, прибыв обратно. — Мы тут рыть дале не будем стараться, а погрузим дом в овраг и от туда наладим его вверх: Козлов успеет дожить.

Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую организованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.

— Ты что, Козлов, — курс на интеллигенцию взял? Вон она сама опускается в нашу массу.

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к остающимся людям. С особой трогательностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил, — теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Неизвестные люди оказались новыми, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без пристальности обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных отшельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади; в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе.

Прушевский определил Чиклину расставить рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете.

— Нам это ничто, — высказался Сафронов. — Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем.

— Вот-вот, — произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади Чиклина на овраг.

Чиклин сказал, что овраг — это более чем пополам готовый котлован и посредством оврага можно оберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание.

— А во мне пошевельнулось научное сомнение, — сморщив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Сафронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума.

— Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось? — произносил постепенно Сафронов. — Иль он особое лобзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улучшения!..

Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно:

— Некуда жить, вот и думаешь в голову.

Прушевский посмотрел на Чиклина, как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманнами частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Воцев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. „Наверно, он знает смысл природной жизни”, — тихо подумал Воцев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоскою, спросил:

— А вы не знаете — отчего устроился весь мир?

Прушевский задержался вниманием на Воцева: неужели ОНИ тоже будут интеллигенцией, неужели НАС капитализм родил двоешками, — Боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю, — ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого, или что внутри нам не объяснили.

— Зря, — определил Воцев. — Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для нас она мала!

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим темным комком земли. Воцев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть.

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский считал бы надежность грунта менее точно, — теперь же ему хотелось непрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце, вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению, — и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждав-

шееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги.

Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе наруже. И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.

Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил канцелярию земляных работ. В природе отходил в вечер опустошенный летний день; все постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди, смиренно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пусто, землекопы перешли трудиться на овраг и там сейчас происходило их движение. Прушевскому захотелось вдруг побывать в далеком центральном городе, где люди долго спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и побеседовать с ней всю ночь, испытывая таинственное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись в пустоте рассвета без обещанья встречи.

Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома отца, — летние вечера не изменились с тех пор, — и он любил тогда следить за прохожими мимо, — иные ему нравились и он жалел, что не все люди знакомы между собой. Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лицо, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой, и так близко прошла, не оставившись.

Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встретил Воцев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю.

Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко задумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности. — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений, — и потому научно хранил свое тело — не только для личной радости существования, но и для близких рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вдохов выпил оттуда каплю.

— Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. — Опять хочешь от меня кое-чего заработать?

Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился — он никогда не желал тратить нервности своего тела.

— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?

Жачев ответил ему прямо по факту:

— Ты что ж, буржуй, аль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду — любой кодекс для меня слаб!

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и не пользуясь, бросил их прочь.

— Товарищ Жачев, — ответил Пашкин, — я тебя вовсе не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, — как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.

— Врешь ты, классовый излишек, — это я тебе навстречу попадался, а не ты шел!

В кабинет Пашкина вошла его супруга, — с красными губами, жующими мясо.

— Ловочка, ты опять волнуешься? — сказала она. — Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.

— Ишь как жену, стервец, расхарчевал! — произносил из сада Жачев, — на холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведывать такой с...!

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.

— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.

— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из мрака. — Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуше налила!

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.

— Оля, он еще сливок требует, — обратился Пашкин.

— Ну, вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? Ты ведь выдумаешь!

— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал, — сказал с клумбы Жачев. — Иль окно спальни прошиб до самого пудренного столика, где она свою рожу усначивает, — она от меня хочет заработать!

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа, и целый месяц шло расследование, — даже к имени придирались: почему и Лев Ильич? — Уж что-нибудь одно! Поэтому она медленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.

— А качество продуктов я дома проверю, — сообщил он, остановив свой экипаж у калитки. — Если опять порченный кусок говядины или просто объедок попадетя, — надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас — мне нужна достойная пища.

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от уroda. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:

— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, — к нему снова возвращалась основная жизнь.

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева, — по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц: он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев

почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина, и направил движение своей тележки на земляной котлован.

— Никит! — позвал он у ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.

— Без сна рабочий человек давно бы кончился, — подумал Жачев, — и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фонарем, так что Жачев стал им виден.

— Ты кто? такой низкий? — спросил голос Сафронова.

— Это я, — сказал Жачев, — потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?

— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот же Сафронов. — Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.

Чиклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.

— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин. — Кашу приехал есть? Пойдем, — у нас осталась, а то к завтраму прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье.

— Я по тебе соскучился, — сообщил Жачев, — меня нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!

— Вот сделай знак из такого лопуха! — сказал Сафронов про урда. — Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нету момента чувства ума!

Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова также логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугунок каши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть. Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости; они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным замком.

Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости и для подтверждения своего равенства с двумя ев-

шими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбившемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем, — слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.

— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости!

— Что ж мне: обнимать тебя, что ли, — ответил Чиклин. — Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что!

— Могу, — ответил Сафронов, — смело могу! Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращу, — они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения.

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Воцев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства.

— Говорили, что все на свете знаете, — сказал Воцев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить.

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей походкой.

— Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательнее получить этот продукт — в круглом или жидком?

— Не тронь его, — определил Чиклин, — мы все живем на пустом свете, — разве у тебя спокойно на душе?

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Воцева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? — Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!

— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации, —

с полной значительностью обратился Сафронов. — Вопрос встал принципиально и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...

— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать, — сказал пробужденный Козлов, — перестань брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся — сон ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут.

Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Вошеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Вошев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.

Все последние бодрствующие легли и успокились; ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя или радуясь.

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь; он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом, и сильно тужил об этом, — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось — наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими, молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным существом, — и так он прошел в то время мимо ее, не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо.

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у Чиклина был единственный со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь, как на зиму, он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе.

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа.

— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Прушевский. — Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить...

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить, и со стеснением молчал.

Прушевский сел на скамью и поник головой; решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним.

— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время беспокоюсь один на квартире. Можно я посижу здесь до утра?

— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин. — Среди нас ты будешь отдыхать спокойно, — ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь.

— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильно.

Чиклин и не думал ничего.

— Не уходи отсюда никуда, — произнес он. — Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.

Прушевский сидел все в том же своем настроении; лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже не жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего.

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении спящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал:

— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели мое лицо и смело спали...

Жачев тоже проснулся на тележке.

— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского. — А то у меня есть буржуйская пища.

— Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов. — Где это вам представился буржуазный персонал?

— Стихни, темная мелочь! — ответил Жачев. — Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб очистить место!

— Ты не бойся, — говорил Прушевскому, — ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, — как испугаешься, так кричи меня.

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чиклина и там лег в одежде.

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться.

— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил, — тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь. — Все думал, что успею.

— Теперь вы механически выбывший человек: факт! — сообщил со своего места Сафронов.

— Спите молча! — сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс и теперь потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством, — он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства от несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты грозящей опасности Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость и эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от сна.

— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб, — хладнокровно сказал он. — Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия и вам будет некрасиво нести должность.

— Не ваше дело, — ответил Прушевский.

— Нет, извините, — возразил Козлов, — каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства, — что это такое!

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее, Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Вошев, слышав эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизни. „Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна“, — полагал он.

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Вошева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях; он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушев-

скому: если вечером ему опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит.

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовой бледностью земли; но другого места для жизни не было дано.

— Однажды давно — почти еще в детстве, — сказал Прушевский, — я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.

— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чиклин.

— В этом же городе.

— Так она должна быть дочь кафельщика? — догадался Чиклин.

— Почему? — произнес Прушевский. — Я не понимаю!

— А я ее тоже встречал в июне месяце — и тогда же отказался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек.

Прушевский скромно улыбнулся.

— Но почему же?

— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь: лишь бы она жила сейчас на свете!

Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет действовал вблизи и вдали на них обоих.

— Небось, уж она пожилой теперь стала, — сказал вскоре Чиклин. — Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или кухарочная.

— Наверно, — подтвердил Прушевский. — Времени прошло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.

Они остановились на краю овражного котлована; надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь в целости.

— А скорей всего она теперь сознательница, — произнес Чиклин, — и действует для нашего блага: у кого в молодых годах было нечетное чувство, у того потом ум является.

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще

не устроено уюта, — и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение:

— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чиклин, когда она придет?

Чиклин ответил ему:

— Ты ее почувствуешь — и узнаешь, — мало ли забытых на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!

Прушевский понял, что это правда и, побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде.

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к Чиклину.

— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настанет! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе, — так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и произнес:

— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезает вдале: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит.

— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов. — А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты подговорил одного бедняка, во время самого курса на коллективизацию, петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, что коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты четкий!

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.

— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию, — сообщил Козлов. — Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта.

— Рабочий класс — не царь, — сказал Чиклин, — он бунтов не боится!

— Пускай не боится, — согласился Козлов. — Но все-таки лучше будет, как говорится, его постеречь.

Жачев был вблизи на тележке и, откатившись назад, он разогнулся вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем в воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравнив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: — За что, Никит? Я хотел, чтоб он первый разряд пенсии получил! — и раздробил повозку между телом и землей, благодаря падению.

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежащему человеку. — Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться.

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю.

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин, совместно с другими, очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал:

— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит — из него какой-нибудь прынцип вырастет.

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.

— Прощай, — сказал ему Сафронов, — ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения...

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общепользную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.

В ту минуту за оврагом по полю мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить, его тело отошало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожие. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве, — и уже настало время труда в овраге.

Разные сны представляются трудящемуся по ночам — одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинако-

вым, сгорбленным способом, — терпением тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пойти в партию и скрыться в руководящем аппарате, — и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, т. к. экипаж продал в эпоху режима экономии, а теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел, во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована, опойть лошадей так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.

Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом — и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы, как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели; он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству, вплоть до прилежного ремонта потертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз, как обслуживающую силу, но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает свет жизни, — надо лишь сберечь детей, как нежность революции, и оставить им наказ.

— А что, товарищи, — сказал однажды Сафронов, — не поставим ли нам радио для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!

— Лучше девочку-сиротку привести за руку, чем твое радио, — возразил Жачев.

— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?

— Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она служит, единоголосная душа из тебя вон! — ответил Жачев.

— Ага, — вынес мнение Сафронов, — тогда, товарищ Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, — мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно-мыслящее лицо.

— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь, в форме детства, лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету.

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.

— Ишь ты, железный инвентарь какой — стоит и не боится, — рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой. — Значит ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй чья власть, коровий супруг!

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал боль.

— Вот еще надлежало бы и товарищу Вошеву приобрести от Жачева карающий удар, — сказал Сафронов. — А то он среди пролетариата не знает, для чего ему жить.

— А для чего, товарищ Сафронов? — прислушался Вошев издали сарая. — Я хочу истину для производительности труда.

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения и на лице его получила морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.

— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вошев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыпались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей,

смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблочными садами.

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали, тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился, а старик-забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно вросло в землю, и бесплодно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь — он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.

— Что же тут такое есть? — спросил у него Чиклин.

— Тут, дорогой человек, констервация, — советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна — она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.

Чиклин сказал ему:

— Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питания.

— А ты сам-то кем же будешь? — спросил старик, складывая для внимательного выражения свое чтущее лицо — Жулик, что ль, иль просто хозяин — буржуй?

— Да я из пролетариата, — нехотя сообщил Чиклин.

— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.

С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; вскоре он нашел и деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь, — лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту, и он мог на последнее прощанье только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За той дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон и там горела на полу керосиновая лампа.

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.

Около лампы лежала женщина на земле, — солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томила или спала, — и девочка,

которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и развергла беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:

— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.

Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.

— А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила она у дочери.

— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, — и она принесла для своей защиты:

— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, — я стала, как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.

— Туши свет, — сказала старая женщина, — а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.

— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила девочка в темноте.

— Немножко, — ответила мать. — Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя закорят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива...

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?..

— Мне стало скучно, я уморилась, — сказала мать.

— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет, — говорила девочка. — Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове. Знаешь что, — помолчала она, — я сейчас засну на одну только каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.

— Сними с меня только веревочку, — сказала мать, — она меня задушит.

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо; до Чиклина не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь, ни что — не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул, — упал ли то старый кирпич в соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения.

— Подойдите ко мне кто-нибудь!

Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спешившихся трещинах, что она та самая.

— Зачем мне нужно? — понятно сказала женщина. — Я буду всегда теперь одна, — и, повернувшись, умерла вниз лицом.

— Надо лампу зажечь, — громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение.

Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки итак сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины.

В начале осени Вошев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели, — общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классово-жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива ничто иное, как предмет нужды заграницы...

— Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносила требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам 30 тракторов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же, и наравне с ним Вошеву, становилось беспричинно стыдно от долгих ре-

чей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаянья души, и он кричал среди шума сознания, лающего из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..

Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой.

— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

— Оставь, Сафронов, в покое человека, — говорил Воцев, — нам и так скучно жить.

Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества:

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Воцев, соревноваться на высшее счастье настроенья!

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.

Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду.

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства.

Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежачих людей и с горестью высказывался:

— Эх ты — масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма. И что тебе надо, стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!

И четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего, и затем снова задремал.

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?

— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.

— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!

— Ну так что ж, — сказал Чиклин. — Буржуйки все теперь умирают.

— Пускай умирают, — произнесла девочка. — Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.

— Ничего: ты будешь спать на моем животе, — обещал Чиклин.

— А что лучше — ледекол Красин или Кремль?

— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.

— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!

Чиклин поднес кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.

— Что ж кашу холодную даешь, эх, ты — Юлия!

— Какая ж тебе Юлия?

— А когда мою маму Юлей звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.

Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком, и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.

— Я нашел твою девушку, — сказал Чиклин Прушевскому. — Пойдем смотреть ее, она еще цела.

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться вперед.

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуви.

— Вы не знаете, товарищи, что заарестуют меня в лаптях или не тронут? — спросил старик. — Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; бабы сроду в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, — ишь ты, как ведь стало интересно!

— Кому ты нужен! — сказал Чиклин. — Шагай себе молча.

— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит — бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я вот чего боюсь. А то бы я давно ушел.

— Подумай, старик, — посоветовал Чиклин.

— Да думать-то уж нечем.

— Ты жил долго: можешь памятью работать.

— А я все уж позабыл, хоть сызнова живи.

Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.

— Она же мертвая! — удивился Прушевский.

— Ну и что ж! — сказал Чиклин. — Каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминанья.

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.

— Эта не та, которую я видел в молодости, — произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: — А может быть, и та, — после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них.

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточное-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему.

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него, — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настичь эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печени. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для своего поцелуя, — веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом,

почти шерстью, выросшей от болезни и бесприютности, — какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при жизни в обрастающее шкурой животное.

— Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им нескудно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устаревшую вещь, положил ее рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

— Зачем ты стараешься?

— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей — нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!

Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки, как память о скрывшемся навсегда, валялись на его месте.

Солнце уже высоко взошло и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехид будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов. — Чем у тебя папаша-мамаша занимались?

— Я никто, — сказала девочка.

— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти?

— А я сама не хотела рождаться, я боялась — мать буржуйкой будет.

— Так как же ты организовалась?

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать.

– А я знаю, кто главный.

– Кто ж? – прислушался Сафронов.

– Главный Ленин, а второй Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!

– Ну, девка, – смог проговорить Сафронов: – сознательная женщина – твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался побольше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревяня во ржи и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни в даль и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтоб не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.

– Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! – останавливал его Сафронов. – Ведь здесь ребенок теперь живет, – иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!

– Я, товарищ Сафронов, уж обсох, – заявил издали мужик. – Это я по отсталости растрогался.

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка.

– Где же живот-то? – спросила она, обернувшись на глядящих на нее. – На чем же я спать буду?

Чиклин сейчас же лег и приготовился.

– А кушать! – сказала девочка. – Сидят все, как Юлии, а мне есть нечего!

Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом.

– Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас – уже известно.

Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила Чиклина рукой, как привычную мать.

Сафронов, Вошев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костями.

— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее чувство. — Перед нами лежит без сознания фактический житель социализма, а из радио и прочего культурного материала мы слышим линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом, и детский персонаж огражден был от ветра и простуды каменной стеной!

Вошев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню.

— Как урод, я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу! — сказал Жачев. — Вам ведь так и так все равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто — лучше любите что-нибудь маленькое живое и отравляйте себя трудом. Существойте, пока что!

Ввиду прохладного времени Жачев заставил мужика снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время греться.

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях, либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы.

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная, и жила, как в беспамятстве. Лишь раз в год, на Пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: „Христос воскрес, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя сестра Аня”.

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству

и назначения его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди остального новостроющегося мира этот белый сюжет сооружений, и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях, — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. — Когда же это выстроено? — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу, — он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность.

Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость, — они, наверно, гуляли и ожидали звездного вечера.

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.

— Вот к тебе, Прушевский, — сказал Чиклин. — Он просит отдать гробы ихней деревне.

— Какие гробы?

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился, или же умирал по мелким частям на ходу жизни.

— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голосом. — Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай гробы!

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета, на самом деле, было открыто сто пустых гробов; два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет опять без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.

— Отдайте мужику остальные гробы, — ответил Прушевский.

— Все отдай, — сказал человек. — Нам не хватает мертвого инвен-

таря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!

— Нет, — произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные.

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился.

— Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть.

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в контору.

— Елисей, — сказал он полуголому. — Я их тесемками в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит!

— Не устерег двух гробов, — высказался Елисей. — Во что теперь сам ляжешь?

— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил, — умру, пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоминая забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза.

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился; он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле.

— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.

— Нет, детка, — ответил Чиклин. — Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам.

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.

— А зачем им тогда гробы? Умирать должны буржуи, а бедные нет!

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить.

– И один был голый! – произнесла девочка. – Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама тоже голая лежит.

– Ты права, дочка, на все сто процентов, – решил Сафронов. – Два кулака от нас сейчас удалились.

– Убей их пойдя! – сказала девочка.

– Не разрешается, дочка: две личности это не класс...

– Это один да еще один, – сочла девочка.

– А в целости их было мало, – пожалел Сафронов. – Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше, как класс, чтобы здесь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

– А с кем останетесь?

– С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий – понимаешь что?

– Да, – ответила девочка. – Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало.

– Ты вполне классовое поколение, – обрадовался Сафронов, – ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, – да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.

– От сволочи, – с легкостью догадалась девочка, – тогда будут только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала – правда ведь?

– Правда, – сказал Чиклин.

Девочка, вспомнив, что мать ее находится в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:

– Ты что?

– Так, – сказала девочка, не обращая внимания, – мне у вас стало скучно, вы меня не любите, – как ночью заснете, так я вас изобью.

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Один Вошев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль; он по-прежнему не знал – есть ли что особенное в общем существовании, – ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Вошев тихим шагом скрылся в поле и там прилег

полежать, невидимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств.

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Воцев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более, что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг, — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посреди времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Воцев ушел в одну открытую дорогу.

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими самодовлеющими словами: „Ну хорошо, ну прекрасно” — и продолжал. Про себя любил произносить: „Где вы теперь, ничтожная фашистка!”. И многие другие краткие лозунги-песни.

Сегодня утром Козлов ликвидировал, как чувство, свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обожании, он же, превозмогая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращения дамских писем к себе. И он написал даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви:

*„Где раньше стол был яств,  
Теперь там гроб стоит!  
Козлов”.*

Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюции, строфы песней и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали, как активную

общественную силу, — и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по I-й категории он обеспечил себе и натурное довольствие.

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему:

— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рощдлльского вида, а не советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм!?

— Я вас не сознаю, гражданин, — скромно ответил заведующий.

— Так значит опять: „просил он, пассивный, не счастья у неба, а хлеба насущного, черного хлеба!” Ну хорошо, ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одну декаду стал председателем лавкома этого кооператива. Он так и не узнал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, но и качество яростных.

Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на прище строительства и стал на краю его, чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им:

— Не будьте оппортунистами на практике!

Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма.

— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафронов. — Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглым сиротой или частным мошенником в своем убежище.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему:

— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!

— Факт! — произнесла девочка.

Здест и Сафронов определил свое мнение.

— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!

Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам.

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем,

потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым среди чужих.

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец.

Маточное место для дома будущей жизни было готово; теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством; неужели же детям придется жить наруже, среди неорганизованной погоды?

— Нет, — ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола, — разroyте маточный котлован вчетверо больше.

Пашкин согнулся и возвратил бутерброд с низу на стол.

— Не стоило нагибаться, — сказал главный, — на будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда.

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии.

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его, и он запечатлется в ней вечной точкой.

— В шесть раз больше, — указал он Прушевскому. — Я говорил, что темп тих!

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза.

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и второй гроб, а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее подмышку и, прижав к себе, нес другой рукой гроб.

— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодовала Настя. — Мне некуда будет вещи складать!

— Так уж надо, — отвечал Чиклин. — Все мертвые, это люди особенные.

— Важные какие! — удивлялась Настя. — Отчего ж тогда все живут? Лучше б умерли и стали важными!

— Живут для того, чтоб буржуев не было, — сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Вошев и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик.

— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.

— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали: ну, что ты будешь делать?! — с подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением.

Вошев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блости девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалявшейся телегой.

До самой глубины лунной ночи он шел в даль. Изредка, в боковой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки — может быть, они скучали, а может быть, замечали въезжавших командированных людей и пугались их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не отрывался от нее.

Вошев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки.

Чиклин дошел до подводы через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеобщая ветхость бедности покрывала ее, — и старческие, терпеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находил. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что это общественный двор № 7 колхоза имени Генеральной Линии и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых компаний, проводимых на селе.

— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.

Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Вошеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей.

— Я пойду сам, — определил Чиклин.

— Ступай, — ответил активист. — Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю.

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, — и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, — не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, — и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только нередко он словно замирал на мгновение от тоски жизни — тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал воспоминание, что он — головоотяп и упущенец, — так его называли иногда в бумагах из района. „Не пойти ли мне в массу, не забыть ли в общей, руководимой жизни?“ — решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мягкость скоро достанется в четкие, железные руки, — неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь.

— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину. — Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестия: видишь, как падает наш героический брат!

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не боялись бы так же умереть.

Чиклин стал у подножия скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из сво-

его ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию.

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобщественного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал их рукой.

Что, Козлов, скучно тебе?

Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать — отчего же это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов.

— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей, и тоже не потушил огня: ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей устался в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка и его сердце билось по закону.

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами.

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь, как ты; стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, — ты вполне можешь не существовать...

Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло.

Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться.

Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.

— Ну прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их убил?

— Нам, товарищ Чиклин, не известно, — мы сами живем нечаянно.

— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исходатайствовать себе посредством мученья прав о жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.

Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что мужик стих.

— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.

— Нет, — ответил Елисей.

— Положь его в середку между моими товарищами.

Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, уложив его тесно, близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уж не мог их закрыть, и так остался глядеть.

— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.

— Один находился, — ответил Елисей.

— Зачем же он был?

— Не быть он боялся.

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на

заметку возьму, на пенсию стану, — лежи спокойно, товарищ Козлов!

Елисей надыхал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им:

— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как... Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.

— Это ты убил их? — спросил Чиклин.

Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.

— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.

Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей; грачи ему дали дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.

— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?

— Так себе, — сказал Елисей.

— Тогда — ничего, — покойно произнес пишущий мужик. — А мертвых не обманывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли.

Вошев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел — его требует актив.

— На тебе рубль, — дал поскорее деньги Елисею Чиклин. — Ступай на котлован и погляди — жива ли там девочка Настя и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело.

Активист сидел с тремя своими помощниками, похудевшими от непрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вошеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.

— А истина полагается пролетариату? — спросил Вошев.

— Пролетариату полагается движение, — произнес справку активист, — а что навстречу попадается, то все его: будь там истина, будь

кулацкая награбленная кофта, все пойдет в организованный котел, ты ничего не узнаешь.

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроющееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покосившийся на боку с замолкшим дыханием. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.

— Все равно бы я его обнаружил через полчаса, — сказал активист. — У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!

— Того я закончил, — объяснил Чиклин. — Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.

— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних угондий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще светел, — среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседав-

шему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.

Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения, и решил завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоличию деревни, а затем объявить народные игры.

Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел было к активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок-председатель с благодарностью успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.

Вошев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом.

— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.

— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен — я его убью.

— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. — Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное, или роскошный несбыточный предмет, и я печально живу.

— А мы его добудем. Ты, Вошев, как говорится, не горюй.

— А ты считай, что уж добыли: видишь, как все теперь стало ничто...

На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие бедняки производили обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива, — одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком, — это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него имелось выражение чуждости на лице.

Вошев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, — дотоле он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.

— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.

— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря жи-

вешь, дай посмотрим. Я, было, пошел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.

— Тебе же все равно где жить, — сказал Чиклин, — лишь бы не умереть.

— Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что ж — я и буду!..

Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину письмо от Прушевского. Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила советское государство и собирает для него утиль сырье; сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами.

„Мне довольно трудно, — писал товарищ Прушевский, — и я боюсь, что полюблю какую-нибудь женщину одну и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе ее бумажку”.

Настя писала Чиклину:

„Ликвидируй кулака, как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов!

Привет бедному колхозу, а кулакам нет”.

Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача; потом он направился спать.

В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на полу, благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели, не моргая, на горящую лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра.

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста, как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места.

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окру-

жающего беднячества и показать ему свойство колхоза, путем призывания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться.

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом.

— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про этот остужающий ветер природы.

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдаль, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Воцев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги.

— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уединенный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, а подкулачник выражался через него. — У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?

— Дай ему! — сказал Чиклин Воцеву.

Воцев подошел к подкулачнику и сделал удар в лицо. Подкулачник больше не отзывался.

Воцев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни.

— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.

— Они потому и идут, что босые, — сказал Чиклин. — А радоваться им нечего — колхоз ведь житейское дело.

— Христос тоже, наверно, ходил скучно и в природе был ничтожный дождь.

— В тебе ум, бедняк, — ответил Чиклин. — Христос ходил один не известно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существования.

Активист находился здесь же на Оргдворе; прошедшая ночь прошла для него задаром — директива не спустилась на колхоз, и он пустил течение мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на одиноличных дворах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия, — поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклин и Во-

щев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность.

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади.

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, и уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку, и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобщественный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.

Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.

Далее лошадиного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом земном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.

— Ты чего? — спросил ее Чиклин.

— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще заплакала.

— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.

— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, — клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-нибудь настанет-то?

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был

действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко склонился к нему.

– Ты что – дышишь?

– Как вспомню, так вздохну, – слабо ответил человек.

– А если забудешь дышать?

– Тогда помру.

– Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть, – сказал Воцев лежащему.

Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.

– Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он – нет.

– Пусть лучше плачет, ему милее будет, – посоветовал Воцев.

– Я и то ему говорила. Разве можно молча лежать – власть будет пугаться. Я-то народно, вот правда истинная – вы люди, видать, хорошие, – я-то как выйду на улицу, так и зальюсь слезами. А товарищ активист видит меня – ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал, – как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба, плачь сильней – это солнце новой жизни взошло и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием...

– Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности? – обратился Воцев.

– Да как вот перестал меня женой знать, так и почитай, что с тех пор.

– У него душа – лошадь, – сказал Чиклин. – Пускай он теперь поржняком поживет, а его ветер продует.

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Воцев и Чиклин ушли в дверь.

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полусонного уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Воцев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

– А теперь он похолодел, – сказал Воцев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее бие-ние жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. „Ишь ты какая чтущая меня сила, – между делом думал лежачий, – все равно я тебя затомлю, лучше бы сама кончилась”.

— Как будто опять потеплел, — обнаруживал Воцев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила, — произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя и смерти, жалея свои целые кости от сожжения в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят, — сказал Воцев мужику.

— Не буду, — согласно ответил лежащий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает, — пощупал Воцев шею мужика.

— Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где нет никакой скупости на революцию.

Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Воцев встретили активиста — он шел в изба-читальню по делам культурной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализма.

В избе-читальне стояли, заранее организованные, колхозные женщины и девушки.

— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении. — А теперь мы повторим букву а, — слушайте мои сообщения и пишите.

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Воцев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на а? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстрой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна, — оценил активист. — Пишите систематически эти слова.

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь карябающей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Воцев.

Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги, и твердый знак как полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жестокость и четкость формулировок. Всем понятно?

— Всем, — сказали все.

— Пишите далее понятия на б. Говори, Макаровна!

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво — ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места!

— Бюрократизм забыла, — определил активист. — Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь — трубку прикури.

— Давай я схожу, — сказал Чиклин, — не отрывай народ от ума.

Активист втолок в трубку лопушиные крошки, и Чиклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уже начиналась пустыньность осени и вечное примиренчество природы. Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лозины, стынущие в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить.

Близ церкви росла старая забвенная трава и не было тропинок или прочих человеческих проходных следов, — значит люди давно не молились в храме. Чиклин прошел к церкви по гуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу; но и он не испугался Чиклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть в темноте осени.

В храме горели многие свечи; свет молчаливого печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудья купола и чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того, спокойного света, — но храм был пуст.

Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было — на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подошел к нему.

— От товарища активиста пришли? — спросил курящий.

— А тебе что?

— Все равно я по трубке вижу.

— А ты кто?

— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди!

Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную, как на девушке.

— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят — говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтобы в кружок безбожия приняли.

— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? — спросил Чиклин.

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:

— А я свечки народу продаю — ты видишь, вся зала горит! Средства же скопляются в кружок и идут активисту для трактора.

— Не брешь: где же тут богомольный народ?

— Народу тут быть не может, — сообщил поп. — Народ только свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.

Чиклин яростно вздохнул и спросил еще.

— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая!

Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить.

— Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скорописью в поминальный листок...

— Говори скорей и дальше! — указал Чиклин.

— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело пред небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких святителей, — те листки я каждую ночь лично сопровождаю к товарищу активисту.

— Подойди ко мне вплоть, — сказал Чиклин.

Поп готовно опустился с порожек амвона.

— Зажмурься, паскудный.

Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скулу. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении.

— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно, — разумно ответил поп. — Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...

Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокстротной головой.

В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали лошади.

Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала.

— Собрание учредителей, — сказал он со смирением.

Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но, увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку.

Организационный двор покрылся сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные одиночки, кто еще был маломочен по сознанию или имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз.

Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью наблюдал движенье жизненной массы на сырой, вечерней земле; он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно рвалась вперед в светлое будущее, ибо все равно земля для них была пуста и тревожна; он втайне дарил городские конфеты ребятишкам неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил взять установку на женитьбу, тем более, что тогда лучше выйдут женщины. И сейчас чей-то малый ребенок стоял около активиста и глядел на его лицо.

— Ты чего взарился? — спросил активист. — На тебе конфетку.

Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало.

— Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету?

Активист без ответа погладил голову мальчика; ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету — она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту.

— Сам доедай, у ней в середине вареньев нету: нам радости мало!

Активист улыбнулся с пронизательным сознанием, он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма, добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень.

Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам Оргдвора и складывали их в штабель, — им заранее активист дал указание на этот труд.

Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около оврага, — понес его к Оргдвору: пусть идет больше пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг.

— Ну, как же будем, граждане? — произнес активист в вещество народа, находившегося перед ним. — Вы, что ж, опять капитализм сеять собираетесь или опомнились?..

Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали реже расти; неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную душу, но один сподручный актива научил их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имуще-

ства. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали свою мысль оттуда, но сердце билось легко и грустно, как порожнее, и ничего не отвечало. Стоявшие люди ни на мгновение не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовное настроение.

Чиклин и Вошев к тому времени уже управились с доставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнце не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями; тишина распространялась сейчас по всему видимому свету, только топор Чиклина звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельнице и в плетнях.

— Ну что же! — терпеливо сказал активист сверху. — Иль вы так и будете стоять между капитализмом и коммунизмом: ведь уж пора тронуться — у нас в районе четырнадцатый пленум идет!

— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять, — попросили задние мужики, — может, мы обвыкнемся: нам главное дело привычки, а то мы все стерпим.

— Ну, стойте, пока беднота сидит, — разрешил активист. — Все равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить бревна в один блок.

— А к чему ж те бревна-то ладят, товарищ актив? — спросил задний середняк.

— А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее...

Вынув поминальные листки и классово-расслоечную ведомость, активист стал метить знаки по бумагам; а карандаш у него был разноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения. Стоячие мужики открыли рты и глядели на карандаш с томлением слабой души, которая появилась у них из последних остатков имущества, потому что стала мучиться. Чиклин и Вошев тесали в два топора сразу, и бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху просторное место.

Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стоял в таком покое некоторое время.

— Товарищ актив, а товарищ!..

— Говори ясно, — предложил середняку активист между своим делом.

— Дозволь нам горе горевать в остатнюю ночь, а уж тогда мы век с тобой будем радоваться!

Активист кратко подумал.

— Ночь это долго. Кругом нас темпы по округу идут, — горюйте, пока плот не готов.

— Ну, хоть до плота, и то радость, — сказал средний мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. Бабы, стоявшие за плетнем Оргдвора, враз взвыли во все задушенные свои голоса, так что Чиклин и Вошев перестали рубить дерево топорами. Организованная членская беднота поднялась с земли, довольная, что ей горевать не приходится, и ушла смотреть на свое общее, насущное имущество деревни.

— Отвернись и ты от нас на краткое время, — попросили активиста два середняка. — Дай нам тебя не видеть.

Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью начал писать рапорт о точном выполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации, посредством сплава на плоту, кулака, как класса; при этом активист не мог поставить после слова „кулака” запятую, так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил себе из района новую боевую кампанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил дорожку генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе сада и, услышав его, один мужик объявил себя бабой.

Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мученья из деревни; вошедший человек стер мокроту с одежды, а потом сказал:

— Товарищ актив, там снег пошел и холод дует.

— Пускай идет, нам-то что?

— Нам — ничего, нам хоть что ни случись — мы управимся! — вполне согласился явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете, потому что ничего не имел, кроме овощей с дворового огорода и бедняцкой льготы, и не мог никак добиться высшей, довольной жизни.

— Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писаться мне в колхоз на покой иль обождать?

— Пишись, конечно, а то в океан pošлю!

— Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только Зою не сеять.

— Какую Зою? — если сою, то она ведь официальный знак!

— Ее, стерву.

— Ну, не сей — я учту твою психологию.

— Учти, пожалуйста.

Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему кви-

танцию в приеме в членство и в том, что в колхозе не будет Зоя, и выдумать здесь надлежащую форму для этой квитанции, так как бедняк нипочем не уходил без нее.

Снаружи в то время все гуще падал холодный снег; земля от снега стала смирней, но звуки середняцкого настроения мешали наступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван Семенович Крестьянин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.

— Не плачь, старуха, — говорил Крестьянин, — ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!

Баба, услышав слова мужика, так и покатилась по земле, а другая женщина — не то старая девка, не то вдовуха, сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим, монашьям голосом, что Чиклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как крестьянинская баба катится по низу, тоже бросилась навзничь и забила ногами в сумонных чулках.

Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь, но все же бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в предбаннике; средние же и высшие мужики молча работали по дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у раскрытых настезь ворот. Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза, безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою в скорбь.

— Жива ли ты, кормилица?..

Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову, — один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы — и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег напал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил свечку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте

— Значит, ты умерла? Ну, ничего — я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела

ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора.

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, и не чуяла запах травы, потому что ноздри ее уже не повелись от сена и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, — но жизнь лошади еще была цела — она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться.

Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлебов снег растаял, и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дымящийся живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее кушать; говядину в то краткое время ели, как причастие, — есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжело, какдвигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой.

Чиклин оставил заготовку плота в такую /погоду/. Вощев тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете или, быть может, она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся ниже тварь, а сам умер затем в осеннем овраге и тело его выдул ветер в ничто.

Активист видел с Оргдвора, что плот не готов; однако он должен был завтрашним утром отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем не организованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали и высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно, готовые организовать навеки. Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середнячком гущей и загляделись на крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке, — от этого собственного света он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью.

— Готовы, что ль? — спросил активист.

— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они попрошаются до будущей жизни.

Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:

— Дай нам еще одно мгновенье времени!

И сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семеньч!

— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, — теперь рига все одно не моя.

Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жадности.

— Ну, давай, Степан, побратаемся.

— Прощай, Егор, — жили мы люто, а кончаемся по совести.

После целованья люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

— Теперь мы, товарищ актив, готовы, — пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем.

Но активист еще прежде обозначил всех жителей — кого в колхоз, а кого на плот.

— Иль сознательность в вас заговорила? — сказал он. — Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она, четкая линия и будущий свет!

Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста — ночь и без керосина была светла от свежего снега.

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.

— Хорошо, — сказали со всего Оргдвора. — Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался.

Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, — тогда он встал со снега и вошел в среду людей.

— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись. — Вы стали теперь, как я, — я тоже ничто.

— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.

Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли вместе внизу; он опустился на землю, разжег костер из плетневого материала, и все начали согреваться от огня.

Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил

слова, только слышалось, как по-старинному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в постоянной вечности.

Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой, сердечной груди.

— Не замучили ребенка-то? — спросил Чиклин.

— Я не смею, — сказал Елисей.

Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем; она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда, и если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться на утро, когда оно настанет без него.

Чиклин взял девочку на руки.

— Тебе ничего было?

— Ничего, — сказала Настя. — А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз!

Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей шее и пошел раскулачивать.

— Жачев-то не обижал тебя?

— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!

— Да, пожалуй, что и не обидит! — сказал Чиклин и обратил внимание на многолюдство. Посторонний, пришлый народ расположился кучами и целыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близ ночного, померкшего костра. По колхозной улице также находились нездешние люди; они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили Елисея и спрашивали его:

— Где же колхозное благо — иль мы даром шли? Долго ль нам бродить без остановки?

— Раз нас привели, то актив знает, — ответил Елисей.

— А твой актив спит, должно быть?

— Актив спать не может, — сказал Елисей.

Активист вышел на крыльцо со своими сподручными и рядом с ним был Прушевский, а Жачев полз позади всех. Прушевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому что Елисей проходил вчера мимо котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз, как кадр культурной революции, ибо без ума организованные люди жить не должны, а

Жачев отправился по своему желанию, как урод, — и поэтому они явились втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе.

— Ступайте, скорее плот кончайте, — сказал Чиклин Прушевскому, — а я скоро обратно к вам поспею.

Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне и получает пищу и приварок, как кузнец второй руки; однако этот молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и профсоюзная линия, получая сообщения об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась. Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района, и захотел как можно скорее избавить его от угнетения.

Около кузницы стоял автомобиль и жег бензин на одном месте. С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнаружить здесь остаточность батрака и, снабдив его лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей не дошли до кузницы, как товарищ Пашкин уже вышел из помещения и отбыл на машине обратно, опустив только голову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга товарища Пашкина из машины не выходила вовсе: она лишь берегла своего любимого человека от встречаемых женщин, обожавших власть ее мужа и принимавших твердость его руководства за силу любви, которую он может им дать.

Чиклин с Настей на руках вошел в кузницу; Елисей же остался постоять снаружи. Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне.

— Скорее, Мишь, а то мы с тобой ударная бригада! — сказал кузнец.

Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал.

— Ну, теперь — будя! — определил кузнец.

Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды полведра воды. Утерев затем свое утомленно-пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза.

— Мишь, это надо кончить поживей: вечером хозяин придет — жидкость будет! — и кузнец показал на свою шею, как на трубу

для водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с большей охотой начал делать подкову.

— А ты, человек, зачем пришел? — спросил кузнец у Чиклина.

— Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят, у него стаж велик.

Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал:

— А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне есть промфинплан, а ты его срываешь!

— Согласовал вполне, — ответил Чиклин. — А если план твой сорвется, так я сам приду к тебе его подымать... Ты слышал про аратскую гору — так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место!

— Нехай тогда идет, — выразился кузнец про медведя. — Ступай на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб Мишка обеденное время услышал, а то он не тронется — он у нас дисциплину обожает.

Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев.

— Он ведь тоже мучается — он, значит, наш, правда ведь? — говорила Настя.

— А то как же! — отвечал Чиклин.

Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд — до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул: шабаш, дескать. Опустив лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей.

— Смотри, Чиклин, он весь седой!

— Жил с людьми, вот и поседел от горя.

Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него и, дождавшись, зажмурил для нее один глаз; Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу, так что у него там что-то забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на малолетнюю внимания.

Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверстыми тлеющими туловищами — долголетний, скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух, в

общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чиклин и молотобоец, а кулачества что-то нигде не ликвидировали.

Снег, изредка спускавшийся дотолы с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче, — какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную, секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с настроением природы: только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив наружу лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, — ей было хорошо, что животное тоже есть рабочий класс, — а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг — чего бы это охватить и выломать ей для подарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи, кроме глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжатую лапу к Настину лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету — они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице, — мухи летали целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.

— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.

— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин.

Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще:

— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет.

Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.

— Кулачество! — сказал Чиклин и, вошедши на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу.

Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хозяйственные укромные места. В сарае засыпанные мякиной, лежали четыре или больше мертвых овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи: они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него.

Из сарая наружу выходил дух теплоты, — и в трупных скважинах убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, и мухи жили там вполне нормально. Чиклину стало тяжело в боль-

шом сарае, ему казалось, что здесь топятся банные печи, а Настя зажурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и нету четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц.

Молотобоец пошел из сарая в избу и, заревев в сенях враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки.

Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку; мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездила среди горницы, будто все вещество из нее опустилось вниз; она уже не кричала, а только открыла рот и старалась дышать.

– Мужик, а мужик! – начала звать она, не двигаясь от немощи горя.

– Чего? – отозвался голос с печки; потом там заскрипел разошедшийся гроб и вылез хозяин.

– Пришли, – сказывала постепенно баба, – иди встречай... Головушка моя горькая!

– Прочь! – приказал Чиклин всему семейству.

Молотобоец попробовал мальчишку за ухо, и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую посуду.

Мальчик стоял в одной рубышке и, соображая, глядел на сидящего.

– Дядь, отдай какашку! – попросил он; но молотобоец тихо зарычал на него, тужась от неудобного положения.

– Прочь! – произнес Чиклин кулацкому населению.

Медведь, не трогаясь с горшка, издал из пасти звук, – и зажиточный ответил:

– Не шумите, хозяева, мы сами уйдем.

Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером – что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыта и съедали порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобней тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса – от злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать.

Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел, как есть, на улицу и уже прошел мимо окна снаружи, – только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью.

— Он очень хитрый, — сказала Настя про этого мальчишка, унесшего свой горшок.

Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и пошел в избу один.

— Ты чего, милый, явился? — спросил ласковый, спокойный мужик.

— Уходи прочь! — ответил Чиклин.

— А что, ай я чем не угодил?

— Нам колхоз нужен, не разлагай его!

Мужик, не спеша, подумал, словно находился в душевной беседе.

— Колхоз вам не годится...

— Прочь, гад!

— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!

У Чиклина захватило дыхание, он бросился к двери и открыл ее, чтоб видна была свобода, — он также когда-то ударился в замкнутую дверь тюрьмы, ... не понимая плена, а закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса.

— Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом... А ты — исчезни!

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег; мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.

— Ликвидировали!?!.. — сказал он из снега. — Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!

Через четыре двора молотобоец опять ненавистно заревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишко заставил на мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты.

— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молотобойцу.

Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился.

— Оporожняй батрацкое имущество! — сказал Чиклин лежачему.  
— Прочь с колхоза и не смей более жить на свете!

Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился.

— А ты покажь мне бумажку, что ты действительное лицо!

— Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин. — Я никто: у нас партия — вот лицо!

— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.

Чиклин скудно улыбнулся.

— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. — Являйся нынче на плот, капитализма сволочь!

— Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там, — правда ведь? — произнесла Настя. — Со сволочью нам скучно будет!

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы.

Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин также одобрил активиста.

— Ты сознательный молодец, — сказал он, — ты чуешь классы, как животное.

Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел в кузницу сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи; одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого, обгорелого, как человека.

Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью.

— Гадость ты, — говорил ему Жачев, — чего глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее — жми друг дружку, а деньги в кружку! Ты думаешь это люди существуют? — Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот чего мне жалко!

По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет, как уставший предрассудок.

Ликвидировав кулаков в даль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно от чего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по нежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную, мертвую воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскорее также ликвидируют в далекую тишину.

Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — кричал Жачев по реке.

— Проща-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства.

Активист выставил на крыльцо Оргдвора рупор радио и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз, вместе с окрестными пешими гостями, радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась музика, вышел на среднее место, вдарил подошвой и затанцевал по земле, ничуть при этом не сгибаясь и не моргая белыми глазами; он ходил как стержень — один среди стоячих, — четко работая костями и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули себе местных девушек и понеслись по низу, бодро шевелясь, а для своего угощения целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника и даже обобщественные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать.

Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, — на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба.

Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где мухами, весь народ товарищески торжествовал. Давно живущие на свете люди — и те строились и топтались, не помня себя.

— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забавный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту. — Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

— Она — девка иль вдова? — спросил на ходу танца окрестный гость.

— Девка! — объяснилдвигающийся мужик. — Аль не видишь, как мудрит?!

— Пускай ей помудрится! — согласился тот же пришлый гость. — Пускай пособничают! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!

Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему мешали, а гостевому мужику, желавшему девочку-эсесершу выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, чтоб он не надеялся.

— Не смей думать — что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!

Гость уж испугался, что он явился сюда.

— Боле, товарищ калека, ничего не подумаю — я теперь шептать буду.

Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность замершего снега и покорный сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и мученья, что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше.

— Настя, ты не стынь долго, иди ко мне, — позвал Чиклин.

— Я ничуть не озябла, тут ведь дышат, — сказала Настя, бегая от ласково ревушего Жачева.

— Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты маленькая!

— Я уж их терла: сиди — молчи!

Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал: — Стой до очередного звука!

Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда слышалась не музыка, а лишь человек:

— Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое корье!..

И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об ивово-корьевой кампании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним совершилось прошлый раз, когда он забыл про организацию дня кустарника, а теперь весь колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал чинить радио, — и прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась работа, потому что он не был уверен — предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос.

Полночь, наверно, была уже близка; луна высоко находилась над плетнями и над смирной старческой деревней, и мертвые лопухи блестели, покрытые мелким, смерзшимся снегом. Одна заблудившаяся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторва-

лась и полетела, зажурав в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем.

Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжелой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слушалось жалобное счастье и напев бредущего человека.

— Жачев! — сказал Чиклин. — Ступай, прекрати движение — умерли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут.

Жачев уполз с Настей в Оргдвор и, устроив ее там спать, выбрался обратно.

— Эй, организованные, достаточно вам танцевать: обрадовались, сволочь!

Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топтался, покрывая себя песней.

— Заработать от меня захотели? Сейчас получите!

Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суetyщихся ног и начал спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны, — Жачев даже сожалел, что они, наверно, не чувствуют его рук, и враз замолкали.

— Где ж Вощев? — беспокоился Чиклин. — Чего он ищет вдалеке, мелкий пролетарий?

Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца и нигде не было заметно человека, лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да изредка покашливал кузнец.

Тихо было кругом и прекрасно. Чиклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. ОнъЭольше не увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверно, молотобоец будет бить по подковам и шпину железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье; весь же точный смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского счастья, чтобы сердце молотобойца и Чиклина лишь надеялось и дышало, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпелива.

Чиклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота, потом осмотрел уличный порядок — цело ли все — и, заметив пропадающий на дороге армяк, поднял его и снес в сени ближней избы: пусть хранится для трудового блага.

Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чиклин пошел по дворовым задкам — смотреть Вощева дальше. Он перелезал через

штетные устройства, проходил мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загоронок сразу начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело может застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнувшего детства, — только такие, как молотобоец, могли вытерпеть здесь свою жизнь, и то посидели от нее. „Я еще не рожался, а ты уже лежала бедная неподвижная моя!“ — сказал вблизи голос Вощева, человека. — „Значит, ты давно терпишь: иди греться“.

Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был уже полон.

— Ты чего, Вощев?

— Так, — сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз.

Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склонилась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река шевелилась в обжитых сельских берегах.

Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдоме горел огонь безопасности, — одна лампа на всю потухшую деревню; у лампы сидел активист за умственным трудом, он чертил графы ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-средняцкого благоустройства, чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт, как основа.

— Запиши и мое добро! — попросил Вощев, распаковывая мешок.

Он собрал по деревне нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, потраченной без сознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших подобно ему без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине.

Активист стал записывать прибывшие с Вощевым вещи, организовывая особую боковую графу под названием „перечень ликвидированного насмерть кулака, как класса, пролетариатом, согласно имущественно-выморочного остатка“. Вместо людей, активист записывал признаки существования: лапоть прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину из рядна и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела.

К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, сумел нечаянно разбудить девочку.

— Отверни рот: ты зубы, дурак, не чистишь, — сказала Настя загородившему ее от дверного холода инвалиду: — и так у тебя буржуи ноги отрезали, ты хочешь, чтоб и зубы попадали?

Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Девочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась.

— Это утильсырье принесли? — спросила она про мешок Вощева.

— Нет, — сказал Чиклин, — это тебе игрушки собрали. — Вставай выбирать.

Настя встала в свой рост, потопталась для развития и, опустившись на месте, обхватила раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чиклин поставил ей лампу со стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что ей понравится, — активист же и в темноте писал без ошибки.

Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество безродно умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад.

Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил на полу в чулках, довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение рек идет лишь в пучины морские, и уплывшие на плоту не вернуться мучить молотобойца — Михаила; те же безымянные люди, от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и поднытаться они не могут.

— Прушевский, — обратился Чиклин.

— Я, — ответил инженер; он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ничего не писала, — если она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком, — это одинаково, что умереть теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за сестру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная женщина, — забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если жива.

— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?

— Нет, — сказал Прушевский.

— Врешь, — упрекнул Жачев, не открывая глаз. — Марксизм все

сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу, — сообщил Жачев. — Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен кое-что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!

— Ты дурак, потому что, — объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках, — ты только видишь, а надо трудиться. Правда ведь, дядя Вошев?

Вошев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни.

— Неизвестно, — ответил Вошев Насте. — Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то уморишься и померешь. Не расти, девочка, — застоскуешь!

Настя осталась недовольна.

— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев, сторожи меня, опять я спать захотела.

— Иди, девочка, — отозвался Жачев. — Иди ко мне от подкулачника, он заработать захотел — завтра получит!

Все смолкли, в терпении продолжая ночь, — лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал про себя: „ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, — мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уж целыми эшелонами население в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх — горе!“.

Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-пережиток.

— Входи, заседанья нету, — сказал активист.

— Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя. — А я думал — вы думаете.

— Входи, не раздражай меня, — промолвил Жачев.

Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови, и окреп от привычки быть организованным.

— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, — весь колхоз глаза открыл, нам без тебя жутко стало!

— Надо пойти справиться! — решил активист.

— Я сам схожу, — определил Чиклин. — Сиди, записывай получше: твое дело учет.

— Это — пока дурак! — предупредил активиста Жачев. — Но скоро мы всей разактивим: дай только массам измучиться, дай детям подрасти!

Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним,

бескорыстно светили звезды над снежной чистотой земли и широко раздавались удары молотобойца, точно медведь застыдилась спать под этими ожидающими звездами, отвечал им чем мог. „Медведь — правильный пролетарский старик”, — мысленно уважал Чиклин. Далее молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая вслух какую-то счастливую песню.

Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность, в горне горел дующий огонь, который поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехов. А молотобоец, вполне довольный, ковал горячее шинное железо и пел песню.

— Ну, никак заснуть не дает, — пожаловался кузнец. — Встал, разревелся, ему горно зажег, а он и пошел бузовать... Всегда был покоен, а нынче как с ума сошел!

— Отчего ж такое? — спросил Чиклин.

— Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему бурчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще проходил один подактивный — взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает что-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там останавливается...

— Ну, ты спи, а я подую, — сказал Чиклин. Взяв веревку, он стал качать воздух в горн, чтоб Медведь готовил шины на колеса для колхозной езды.

Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Воцев также явились со всеми совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузницы висел на плетне возглас, нарисованный по флагу:

„За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее”.

Устава, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом опять вскакивал молот в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно кричали во время звука кувалды, чтоб шины были прочней и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет:

— Ты, Мишь, бей с оттяжкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет. А ты лупишь по железу, как по стерве, а оно ведь тоже добро! Так — не дело!

Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тос-

кую о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть порчи:

– Слабже бей, черт! – загудели они. – Не гадь всеобщего: теперь имущество, что сирота, пожалеть некому... Да тише ты, домовой!

– Что ты так садишь по железу?! Что оно – единоличное, что ль?

– Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной!

– Вычеркнуть его надо из колхоза и боле ничего. Аль нам убытки терпеть: на самом-то деле!

Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался поспеть за огнем и крушил железо, как врага жизни, если нет кулачества, так медведь один есть на свете.

– Ведь это же горе! – вздыхали члены колхоза.

– Вот грех-то: все теперь лопнет! Все железо в скважинах будет!

– Наказание Господне... А тронуть его нельзя – скажут, бедняк, пролетариат, индустриализация!..

– Это ничего. Вот если кадр скажут – тогда нам за него плохо будет.

– Кадр – пустяк. Вот если инструктор придет, либо сам товарищ Пашкин, тогда нам будет жара!

– А может, ничего не станет? Может – бить?

– Что ты, осатанел что ли? Он – союзный, наемни товарищ Пашкин специально приезжал – ему ведь тоже скучно без батраков.

А Елисей говорил меньше, но горевал почти больше всех. Он и двор-то когда имел, так ночей не спал – все следил, как бы что не погубило, как бы лошадь не опилась – не объелась, да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний мир отдан его заботе, потому что на других надеяться он опасался, теперь у него уже загодя болел живот от страха такого имущества.

– Все усохнем! – произнес молча проживший всю революцию середняк. – Раньше за свое семейство боялся, а теперь каждого береги – это нас вовсе замучает за такое иждивение.

Восеву грустно стало, что зверь так трудится, будто чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, там, действительно, что-нибудь есть. Чиклин к этому времени уже кончил дуть воздух и занялся с медведем готовить бороньи зубья. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора, двое мастеровых неустанно работали по чувству совести, как и быть должно. Молотобоец ковал зубья, а Чиклин их закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде зубья без перекалки.

– А если зуб на камень наскочит?! – стеная, произнес Елисей. – Если он на твердь какую-либо заедет – ведь пополам зубок будет!

— Вынай, дьявол, железку из жидкого! — воскликнул колхоз. — Не мучай матерьял!

Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и начал закалывать зубья своими обеими руками. Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали трудиться над железными предметами — с тою тщательной жадностью, когда прок более необходим, чем ущерб. „Эту кузню надо запомнить, побелить”, — спокойно думал Елисей за трудом. — „А то стоит вся черная — разве это хозяйское заведение?”

— Ну, дергай, — согласился Елисей. — Только не шибко — веревка теперь дорога, а к новым мехам тоже с колхозной сумкой не пойдешь!

— Я буду потихоньку, — сказал Воцев, — и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в терпении труда.

Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему району. Лампа же все еще горела в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел.

Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотопе в избах; они в общем равнодушно относились к тревоге отцов, им было не интересно их мученье, и домашнюю нужду они переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответного счастья, но которое все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходило в избу-читальню и там оставались, не евши, весь день, учась письму и чтению, счету чисел, привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушевский один остался в стороне, когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был у плетня. Он не знал, зачем его прислали в эту деревню, как ему жить забытым среди массы, — и решил точно назначить день окончания своего пребывания на земле; вынув книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня: пусть все улягутся спать, оконченная земля смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и перестанет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, ни милый друг, ни завоевание звезд — не превозмогут его душевного оскудения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы, основанной не на превосходстве и не на телесной любви, и скуку самых далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ. Прушевскому казалось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до самого источника происхождения, до смертельного уничтожения наивности всякой надежды. Но происхождение чувств оставалось волнующим мес-

том жизни; умерев, можно навсегда утратить этот единственный счастливый, истинный район существования, не войдя в него. Что же делать, Боже мой! Если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей надежде?

Прушевский закрыл лицо руками. Пусть разум есть синтез всех чувств, — где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, но откуда тревога и движение? Он этого не знал, он только знал, что старость рассудка есть влечение к смерти, это единственное его чувство; и тогда он, может быть, замкнет кольцо — он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания.

— Товарищ! Это ты пришел к нам на культурную революцию?

Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой голове; глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке; она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто — свое счастье, — она чувствовала вблизи несущееся горячее движение, у нее поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости, и теперь стояла и просила научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойдет ли с нею ученый человек, и неопределенно смотрела, готовая опять учиться с активистом.

— Я сейчас пойду с вами, — сказал Прушевский.

Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала, чтобы Прушевский не обиделся.

— Идемте, — произнес Прушевский.

Девушка пошла вперед, указывая дорогу инженеру, хотя заблудиться было невозможно; однако она желала быть благодарной, но не имела ничего для подарка следующему за ней человеку.

Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, потратили все наличное железо на полезные изделия, починили всякий мертвый инвентарь и с тоскою, что кончился труд и как бы теперь колхоз не пошел в убыток, оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше — он вылез недавно поесть снегу от жажды, и пока снег таял у него во рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вниз, на покой.

Вышедши наружу, колхоз сел у плетня и стал сидеть, озирая всю

деревню, снег же таял под неподвижными мужиками. Прекратив трудиться, Воцев опять вдруг задумался на одном месте.

— Очнись! — сказал ему Чиклин. — Ляжь с медведем и забудься.

— Истина, товарищ Чиклин, забываться не может...

Чиклин обхватил Воцева поперек и сложил его к спящему молотобойцу.

— Лежи молча, — сказал он над ним, — медведь дышит, а ты не можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься! Ишь ты, сволочь какая!

Воцев прыгнул к молотобойцу, согрелся и заснул.

На улицу вскочил всадник из района на трепещущем коне.

— Где актив? — крикнул он сидящему колхозу, не теряя скорости.

— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз. — Только не сворачивай ни направо, ни налево!

— Не буду! — закричал всадник, уже отдалившись, и только сумка с директивами билась на его бедре.

Через несколько минут тот же конный человек пронесся обратно, размахивая в воздухе сдаточной книгой, чтоб ветер сушил чернилка активистской расписки. Сытая лошадь, разметав снег и вырвав почву на ходу, срочно скрылась вдаль.

— Какую лошадь портит, бюрократ! — думает колхоз. — Прямо скучно глядеть.

Чиклин взял в кузнице железный прут и понес его ребенку в виде игрушки. Он любил ей молча приносить разные предметы, чтобы девочка безмолвно понимала его радость к ней.

Жачев давно уже проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный рот, невольно и грустно продолжала спать.

Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка — не поврежден ли он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью его тело; но ребенок был весь исправен, только лицо его горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста капнула на директиву, — Чиклин сейчас же обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через районного всадника законченную ведомость ликвидации классового врага, и в ней же сообщил все успехи деятельности; но вот опустилась свежая директива, подписанная почему-то областью через обе головы — района и округа — и в лежащей директиве отмечались мало желательные явления перегибщины, забеговщества, переусердия и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии; кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению подкулацких

масс; дескать, войдем в колхозы всей будущей пучиной и размоем берега руководства, — на нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится.

„По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, — значилось в конце директивы, — видно, например, что актив колхоза имени Генеральной линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-средняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно бланки, и ручку с пером, и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, средняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда”.

Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на областную бумагу.

— Что ты, стервец? — спросил его Жачев.

Но активист не ответил ему. Разве он видел радость в последнее время, разве он ел или спал вдосталь или любил хоть одну бедняцкую девицу? Он почувствовал себя как в бреду, его сердце еле билось от нагрузки, он лишь снаружи от себя старался организовать счастье, и хотя бы в перспективе заслужить районный пост.

— Отвечай, паразит, а то сейчас получишь! — снова проговорил Жачев. — Наверно, испортил, гад, нашу республику!

Сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу.

— К маме хочу! — сказала Настя, пробуждаясь.

Чиклин нагнулся к заскучавшему ребенку.

— Мама, девочка, умерла, — теперь я остался!

— А зачем ты меня носишь, где четыре времени года? Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей! Сними с меня рубашку, а то сгорит — выздоровлю, ходить не в чем будет!

Чиклин попробовал Настю, она была горячая, влажная, кости ее жалобно выступали изнутри; насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтоб она была жива!

— Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить, а то болеть ведь грустно, правда?

Чиклин снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того, отобрал ватные пиджаки у Жачева и активиста и всем этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла глаза, и ей стало легко в тепле

и во сне, будто она полетела среди прохладного воздуха. За текущее время Настя немного подросла и все более походила на мать.

— Я так и знал, что он сволочь, — определил Жачев про активиста.  
— Ну что ты тут будешь делать с этим членом?!

— А что там сообщено? — спросил Чиклин.

— Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!

— А ты попробуй не согласишься! — в слезах произнес активный человек.

— Эх, горе мое с революцией, — серьезно печалился Жачев. — Где же ты, самая пушкая стерва? — Иди, дорогая, получить от увечного воина!

Почувствовав мысль в одиночестве, не желая безответно тратить средств на государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак: раз его устраниают, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди Оргдома — без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться.

— Ты зачем ребенка раскрыл? — спросил Чиклин. — Остудить хочешь?

— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист.

Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:

— Возьми железку, какую из кузни принес!

— Что ты! — ответил Чиклин. — Я сроду не касался человека мертвым оружием: как же я тогда справедливость почувствую?

Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая.

— Накрой его! — сказал Чиклин Жачеву. — Пускай ему тепло станет.

Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека — насколько он цел.

— Живой он? — спросил Чиклин.

— Так себе: средний, — радуясь, ответил Жачев... — Да это все равно, товарищ Чиклин: твоя рука работает как кувалда, ты тут не при чем.

— А он горячего ребенка не раздевай! — с обидой сказал Чиклин.  
— Мог чаю скипятить и согреться.

В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно. Открыв на поверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег

для гигиены; мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами, они хотели более чистой зимы.

Отделавшись на Оргдворе, члены колхоза далее трудиться не стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели, их и сейчас не тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием еще с прошлых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились в даль по своим насущным делам.

Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально думал:

— Я опять к маме хочу! — произнесла она, не открывая глаз.

— Нету твоей матери, — не радуясь, сказал Жачев. — От жизни все умирают — остаются одни кости.

— Хочу ее кости! — попросила Настя. — Ктой-то это плачет в колхозе?

Чиклин готовно прислушался; но все было тихо кругом — никто не плакал, не от чего было плакать. День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное собрание, — ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное стелание пронеслось в безмолвном колхозе, и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое место, и не был рассчитан на жалобу.

— Это кто? — крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю деревню, чтоб его услышал тот недовольный.

— Это молотобоец скулит, — ответил колхоз, лежавший под навесом. — А ночью он песни рычал.

Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было некому. Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печально в глушь почвы, не соображая своего горя.

— Там медведь о чем-то тоскует, — сказал Чиклин Насте, вернувшись в горницу.

— Позови его ко мне, я тоже тоскую, — попросила Настя. — Неси меня к маме, мне здесь очень жарко!

— Сейчас, Настя, Жачев, ползи за медведем. Все равно ему работать здесь нечего — материала нету!

Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад: медведь сам шел на Оргдвор, совместно с Вошевым; при этом Вошев держал его,

как слабого, за лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным шагом.

Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежащего активиста и шел равнодушно в углу.

— Взял его в свидетели, что истины нет, — произнес Вошев. — Он ведь только работать может, а как отдохнет, так скучать начинает. Пусть существует теперь как предмет — на вечную память, — я всех угощу!

— Угощай грядущую сволочь, — согласился Жачев. — Береги для нее жалкий продукт!

Наклонившись, Вошев стал собирать вынутые Настей ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении.

— Вошев, а медведя ты тоже в утильсырьё понесешь? — позаботилась Настя.

— А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное существо!

— А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка, занемогшую руку к лежащему на дворе колхозу.

Вошев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей по истине головою.

Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Вошев не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил Вошеву. Тогда Вошев присел близ человека и долго смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в глубь своего грустного сознания.

Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил, и на его голос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом.

— Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? — спросил колхоз. — Вы говорите об нас, а то нам терлежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее — в нем чувствовать нечего. Вы уж постарайтесь!

— Некому горевать, — сказал Чиклин. — Лежит ваш главный горюн.

Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того поганый, что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки заплакали от печали.

— Он умер, — сообщил всем Воцев, подымаясь снизу. — Все знал, а тоже кончился.

— А может, дышит еще? — усомнился Жачев. — Ты его попробуй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не заработал: я ему тогда добавлю сейчас!

Воцев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались в нем и более нигде, а уж Воцеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента.

— Ах, ты гад! — прошептал Воцев над этим безмолвным туловищем. — Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим как тихая гуща, и не знаем ничего!

И Воцев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья.

Почувствовав полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Воцев встал на ноги и сказал колхозу:

— Теперь я буду за вас горевать!

— Просим!! — единогласно выразился колхоз.

Воцев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не только от холодного воздуха, но и от истинной радости одоления всего смутного вещества земли.

— Выносите мертвое тело прочь! — указал Воцев.

— А куда? — спросил колхоз. — Его ведь без музыки хоронить никак нельзя! Заведи хоть радио!..

— А вы раскулачьте его по реке в море! — догадался Жачев.

— Можно и так! — согласился колхоз. — Вода еще течет!

И несколько человек подняли тело активиста на высоту и понесли его на берег реки. Чиклин все время держал Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими условиями.

— Из меня отовсюду сок пошел, — сказала Настя... — Неси меня скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно!

— Сейчас, девочка, тронемся. — Я тебя бегом понесу. Елисей, ступай, кликни Прушевского — уходим, мол, а Воцев за всех останется, а то ребенок заболел.

Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не захотел, сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить, иначе она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко.

— Ну пускай остается, — согласился Чиклин. — Лишь бы сам цел был.

Жачев как урод не умел быстро ходить, а только полз; поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они, спеша, отправились на котлован по зимнему пути.

— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, приказала Настя. — Я к нему скоро в гости приду.

— Будь покойна, барышня! — пообещал колхоз.

К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое освещение города. Жачев уже давно устал сидеть на руках Чиклина и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять.

— Пешие скорей дойдем, — ответил Елисей. — Наши лошади уж и ездить отвыкли: стоят с коих пор! У них и ноги опухли, ведь им только и ходу, что корма воровать.

Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь котлован занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться над разведением костра для согревания Насти, но она ему сказала:

— Неси мне мамины кости, я хочу их!

Чиклин сел против девочки и все время жег костер для света и тепла, а Жачева успал искать у кого-нибудь молоко. Елисей долго сидел на пороге барака, наблюдая ближний светлый город, где что-то постоянно шумело и равномерно волновалось во всеобщем беспокоействии, а потом свалился на бок и заснул, ничего не евши.

Мимо барака проходили люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.

Иногда вдруг наставала тишина, затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, — кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза.

— Чиклин, отчего я всегда ум чувствую и никак его не забуду? — удивлялась Настя.

— Не знаю, девочка. Наверно, потому, что ты ничего хорошего не видела.

— А почему в городе ночью трудятся и не спят?

— Это о тебе заботятся.

— А я лежу вся больная... Чиклин, положи мне мамины кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас!

— Спи, может, ум забудешь.

Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонивше-

гося Чиклина в усы, — как и ее мать, она умела первая, не предупреждая, целовать людей.

Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченности к этому маленькому, горячему туловищу.

Для охранения Насти от ветра и для общего согревания Чиклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка.

— Лежи тут, — сказал Чиклин ужаснувшемуся во сне Елисею. — Обними девочку рукой и дыши на нее чаще.

Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоть и чутко слушал дремлющей головой тревожный шум на городских сооружениях.

Около полуночи явился Жачев; он принес бутылку сливок и два пирожных. Больше ему ничего достать не удалось, так как все новодействующие не присутствовали на квартирах, а шикавали где-то на стороне. Весь ископотавшись, Жачев решил в конце концов оштрафовать товарища Пашкина, как самый надежный свой резерв; но и Пашкина дома не было — он, оказывается, присутствовал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться на представлении, среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгновенно вышел, безмолвно купил для Жачева в буфете продуктов и поспешно удалился в залу представления, чтобы снова там волноваться.

— Завтра надо опять к Пашкину сходить, — сказал Жачев, успокаиваясь в дальнем углу барака, — пускай печку ставит, а то в этом деревянном эшелоне до социализма не доедешь!

Рано утром Чиклин проснулся; он озяб и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспокойство.

— Ты дышишь там, средний черт! — сказал Чиклин Елисею.

— Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ребенка теплом обдавал!

— Ну?

— А девочка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодела с чего-то!

Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные, потом нашел веник и очистил весь барак от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора.

Положив веник на его место, Чиклину захотелось рыть землю; он взломал замок с забытого чулана, где хранился запасной инвентарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша отправился на котлован. Он начал рыть грунт, но почва уже смерзлась, и Чиклину пришлось сечь

землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр почти во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал громить грунт в бок; разверзая земную тесноту вширь. Попав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от мощности удара, — тогда Чиклин зашвырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой к обнаженной глине.

В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла.

— Пойду за другой лопатой! — сказал Чиклин и вылез из ямы.

В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробовал ее голову; потом он прислонил свою руку ко лбу Елисея, проверяя его жизнь по теплу.

— Отчего ж она холодная, а ты горячий? — спросил Чиклин и не слышал ответа, потому что его ум теперь сам забылся.

Далее Чиклин сидел все время на земляном полу и проснувшийся Жачев тоже находился с ним, храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей, всю ночь без сна дышавший на девочку, теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих голосов родных обобществленных лошадей.

В барак пришел Вошев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать снаружи.

— Ты что? — увидел Вошева Жачев. — Ты зачем оставил колхоз иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь, как от класса!

Но Вошев уже вышел к лошади и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля, в виде редких, непродającychся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя, хотя и глядела на Вошева, но ничего не обрадовалась, и Вошев прикоснулся к ней, видя ее открытый, смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вошев стоял в недоумении над этим утихим ребенком, — он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?

Вошев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вошев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.

— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! — обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных.

— Мужики в пролетариат хотят зачисляться, — ответил Вошев.

— Пускай зачисляются, — произнес Чиклин с земли. — Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом въедет всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду.

Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и, не переставая, рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована.

Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги рот.

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь ройщий труд взором прискорбия.

— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак. — Взял бы хоть лопаты поточил!

— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня.

— Почему, стервец?

— Ты же видишь, что я урод империализма, а коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил... Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.

И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован.

В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье.

Декабрь 1929 — апрель 1930 г.



**Илья Ильф**

(1897 — 1937)

**и**

**Евгений Петров**

(1903 — 1942)



## Разговоры за чайным столом

В семье было три человека — папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама — старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженной головой и двенадцатилетним жизненным опытом.

Казалось бы, все хорошо.

И тем не менее, ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры.

Разговор обычно начинал папа.

— Ну, что у вас нового в классе? — спрашивал он.

— Не в классе, а в группе, — отвечал сын. — Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс — это реакционно-феодалное понятие.

— Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?

— Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.

— Ладно, что же прорабатывали?

— Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.

— Вот как! Лассальянство? А задачи решали?

— Решали.

— Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось, трудные?

— Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.

Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно

посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.

— Ну, а по русскому языку что сейчас уч... то есть прорабатываете?

— Последний раз коллективно зачитывали поэму „Звонче голос за конский волос”.

— Про лошадку? — с надеждой спросил папа. — „Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?”

— Про конский волос, — сухо повторил сын. — Неужели не слышал?

Гей, ребята, все в поля  
Для охоты на  
Коня!  
Лейся, песня, взвейся, голос,  
Рвите ценный конский волос!

— Первый раз слышу такую... м-м-м... странную поэму, — сказал папа. — Кто это написал?

— Аркадий Паровой.

— Вероятно, мальчик? Из вашей группы?

— Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик... не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали — „Влияние творчества Парового на западную литературу”.

— А тебе не кажется, — осторожно спросил папа, — что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?

— Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.

— Ненужного?

— Абсолютно ненужного.

— А конские уши вы не предполагаете собирать? — закричал папа дребезжащим голосом.

— Кушайте, кушайте, — примирительно сказала мама. — Вечно у них споры.

Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.

— Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?

— Мы не развлекались. Некогда было.

— Что же вы делали?

– Мы боролись.

Папа оживился.

– Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Бразиле, тур де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука – французская борьба.

– Почему французская?

– А какая же?

– Обыкновенная борьба. Принципиальная.

– С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.

– С лебедевщиной.

– Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?

– Один наш мальчик.

– Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?

– Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.

– Это какой-то кошмар!

– Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал.

Папа схватился за голову.

– Сколько же ему лет?

– Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.

– Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?

– А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?

Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:

– А еще старый большевик!

Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.

– Ну-с, – сказал папа, странно улыбаясь, – что же теперь будет, ученик четвертого класса Ситников Николай?

Сын молчал.

– Что вчера коллективно прорабатывали?

Сын продолжал молчать.

– Изжили наконец лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?

Молчание.

– Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?

– В нулевой группе.

— Не в нулевой группе, а в подготовительном классе! — загремел отец. — Пора бы знать!

Сын молчал.

— Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? „Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост?”

— „Рвите ценный конский волос”, — умоляюще прошептал мальчик.

— Да, да. Одним словом: „Лейся, взвейся, конский голос”. Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?

— Не знаю.

— Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал „Мертвые души”? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.

— Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик... — обрадованно забубнил мальчик.

— Два с минусом! — мстительно сказал папа. — Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.

— Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, — запел Коля, — выявляются капиталистические противоре...

— Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?

Сын молчал.

— Сколько там населения?

— Не знаю.

— Где протекает река Ориноко?

— Не знаю.

— Кто была Екатерина Вторая?

— Продукт.

— Как продукт?

— Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита...

— Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

— Этого мы не прорабатывали.

— Ах, так! А каковы признаки делимости на три?

— Вы кушайте, — сказала сердобольная мама. — Вечно у них эти споры.

— Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? — кипятился папа. — Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками закинул в карман рогатку и выбежал на улицу.

– Двоечник! – кричал ему вслед счастливый отец. – Все директору скажу!

Он наконец взял реванш.

1934



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Борис Филиппов.</i> Несмешное о смешном	7
Несколько слов о том, как составлялась эта антология	19
<b>ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН</b>	
Слово предоставляется товарищу Чурьгину	23
Икс	31
Десятиминутная драма	46
Мученики науки	49
Часы	60
Лев	68
<b>ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ</b>	
Родной язык	75
Закон	80
Гайка	84
Лабиринт	90
Слабое сердце	94
Гостеприимный народ	98
Кулаки	102
Итальянская бухгалтерия	106
<b>МИХАИЛ БУЛГАКОВ</b>	
Роковые яйца	111
Собачье сердце	173
	451

## **МИХАИЛ ЗОЩЕНКО**

О чем пел соловей	255
Аристократка	272
Нервные люди	275
Качество продукции	278
Забавное приключение	281

## **АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ**

Впрок	291
Котлован	346

## **ИЛЬЯ ИЛЬФ И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ**

Разговоры за чайным столом	445
----------------------------	-----